

Михаил Волконский

# Гамлет XVIII века



# Михаил Николаевич Волконский

## Гамлет XVIII века

### Аннотация

«В мае 1798 года Москва готовилась к приему императора Павла Петровича. В предшествующем году была торжественно отпразднована тут коронация, и в нынешнем государь выразил желание снова посетить Первопрестольную столицу.

Москва чистилась и принаряжалась на главных улицах. Тут исправляли мостовые, красили дома и заборы; на бульварах подсаживали деревья. В тупиках же, закоулках и переулках ожидание приезда императора главным образом выражалось в толках и пересудах. Те же толки и пересуды ходили в гостиных богатых домов...»

# Содержание

I	4
II	10
III	21
IV	30
V	40
VI	50
VII	59
VIII	69
IX	86
X	105
XI	119
XII	127
XIII	133
XIV	135
XV	149
XVI	159
XVII	168
XVIII	178
XIX	187
XX	195

# Михаил Волконский

## Гамлет XVIII века

### I

В мае 1798 года Москва готовилась к приему императора Павла Петровича. В предшествующем году была торжественно отпразднована тут коронация, и в нынешнем государь выразил желание снова посетить Первопрестольную столицу.

Москва чистилась и принаряжалась на главных улицах. Тут исправляли мостовые, красили дома и заборы; на бульварах подсаживали деревья. В тупиках же, закоулках и переулках ожидание приезда императора главным образом выражалось в толках и пересудах. Те же толки и пересуды ходили в гостиных богатых домов.

Выдался ранний теплый майский день, и в сад при доме Лидии Алексеевны Радович прилетел соловей.

Этот дом, огромный, каменный, находился почти в центре города, но представлял собою со своим садом, прилегавшими к нему огородами, прудом, надворными строениями и дворовыми избами целое угодье, как бы усадьбу. Такие усадьбы часто попа-

дались в старой допожарной Москве. Обыкновенно с ним вел от главной улицы особый проезд, вымощенный бревнами и изгибавшийся между обывательскими домами случайными и причудливыми заворотами, оставшимися и до сих пор в московских переулках.

К Радович, чтобы слушать первого соловья, съехалось большое общество. Сидели на широком, выходявшем в сад балконе с толстыми колоннами. Был вечер. Сад, покрытый молодой светлою зеленью едва лопнувших из почек листов, кутался в темно-синем тумане. Открывавшийся с балкона вид на разросшиеся кругом деревья с блестящим между ними прудом никак не позволял предполагать, что тут город, да еще столичный. Видневшаяся поверх деревьев верхушка старинной колокольни одна разве указывала, что тут есть церковь, а следовательно, и еще жилье. Солнце золотило красным уже золотом крест колокольни и верхние ветви.

На балконе был подан чай. О соловье забыли, никто не слушал его, да он и не пел в саду.

Хозяйка Лидия Алексеевна, в красном шелковом молдаване с кружевным чепцом на взбитых и припудренных по-старинному волосах, сидела в высоком вольтеровском кресле и держала себя с гостями немножко сверху вниз, а гости, видимо, находили, что ей именно подобает ее важность, потому что вели се-

бя пред нею почтительно и скромно. Если она заговаривала, – все умолкали и слушали. Говорили же по преимуществу тот или та, к кому она обращалась.

Важность старухи Радович и некоторое подобострастие, выказываемое пред нею гостями, происходили вовсе не оттого, что она была старше, почтеннее, знатнее, богаче или важнее по положению остальных. Лета ее были не бог весть какие. Ей было шестьдесят один, не больше, но на вид она казалась даже моложе и бодрее, чем обыкновенно бывают женщины в эти годы. Состояние, которым она распоряжалась, было, правда, порядочное, но до богатства, какое знала старая Москва, от него было очень далеко. Особенно важного положения Радович тоже вовсе не занимала.

Покойный муж ее Иван Степанович происходил из бедных дворян, и все его счастье заключалось в том, что он попал вместе с Гудовичем<sup>1</sup> в приближенные люди к императору Петру III, супругу Екатерины II, и успел получить от своего благодетеля-императора во время его кратковременного царствования хорошую вотчину в Ярославской губернии, дом в Москве, дом

---

<sup>1</sup> Граф И. В. Гудович (1741–1820) отличился во время борьбы с польскими конфедератами и во второй турецкой войне при Екатерине. За успешную борьбу с горцами он был назначен кавказским генерал-губернатором, а при Александре получил чин генерал-фельдмаршала. (Здесь и далее примеч. автора.)

в Петербурге и княжеский титул. Все эти земные блага посыпались на скромного и услужливого Радовича по капризу Петра III, без каких-либо со стороны Ивана Степановича особенных заслуг, разве лишь за его скромность и услужливость.

Иван Степанович отличался робостью, был искателен, тих и, когда счастье улыбнулось ему, женился на Лидии Алексеевне, женился не столько по собственному влечению, сколько потому, что этого пожелала сама Лидия Алексеевна.

Ей было тогда двадцать пять лет – годы, в которые, по тогдашним временам, девушка считалась безнадежно перезревшей. Выйти замуж своевременно ей не позволяли обстоятельства. За дурного жениха идти она не желала, а хорошие не сватались. Не сватались они потому, что Лидия Алексеевна с детства была приучена к роскоши и богатому житью, вкусы у нее и потребности были широкие, а приданого, кроме обширного гардероба, никакого. Отец ее, рано овдовев, прожил свои достатки и существовал казенным жалованьем да долгами. Однако Лидия Алексеевна не теряла надежды выйти замуж и, когда подвернулся взысканный милостью Петра III Радович, быстро повернула дело и женила его на себе. Свадьба была отпразднована торжественно, сам государь был посаженным отцом.

Однако в тот же год вошла на престол государыня Екатерина II, и тут, при этом восшествии, Лидии Алексеевне удалось чем-то услужить императрице. В знаменитую ночь на 28 июня 1762 года, когда Орлов приехал в карете за Екатериной в Петергоф, чтобы возвести ее в Петербург, муж и жена Радовичи не были в Ораниенбауме, где находился Петр III со своими приближенными, а оставались в Петергофе. Вот тут, при спешном отъезде государыни, и успела Лидия Алексеевна услужить ей. Главная же ее заслуга заключалась в том, что она, зная об отъезде Екатерины из Петергофа, не сказала о том даже мужу и не дала знать в Ораниенбаум.

Иван Степанович, после падения Петра III, растерялся и хотел было броситься к императрице, чтобы просить о милости к себе. Лидия Алексеевна удержала его от необдуманных поступков, на которые он был способен в своей растерянности. Она сообразила, что государыня, если бы даже и хотела, не могла выказывать особенные милости к бывшим приближенным Петра III, недовольство которым было общее и переносилось само собой на тех, кого считали его близкими или присными. Значит, думать о новых милостях было безрассудно; нужно было постараться лишь не потерять того, что было приобретено раньше. На это и обратила все свои старания Лидия Алек-



сеевна.

Растерявшийся муж слушался ее беспрекословно, и она заставила его спешно продать дом в Петербурге и уехать в ярославскую вотчину. Радовичи бежали из Петербурга и спрятали пожалованный Петром III княжеский титул, не решаясь воспользоваться им и оставив не выполненными формальности, необходимые для его утверждения за их фамилией. Лидия Алексеевна вполне правильно рассудила, что им не до титула было тогда. Однако на коронацию Екатерины Лидия Алексеевна приезжала в Москву, представлялась государыне и была принята ею милостиво.

В 1764 году у Радовичей родился сын Денис, и в том же году скоропостижно скончался Иван Степанович.

После смерти мужа Лидия Алексеевна переехала в Москву на постоянное жительство и зажила тут, управляя, на правах полной хозяйки, имением, оставшимся после мужа.

## II

Прошло тридцать четыре года, и тридцатичетырехлетний Денис Иванович, хотя давно уже вырос и стал совершеннолетним, ни в чем не прекословил матери, не выходил из ее воли и, несмотря на то что имение и дож принадлежали ему, не смел вмешиваться в дела по управлению ими.

Характером уродился он в отца – был робок, как думали многие, и простоват.

Простоватым считали его по многим причинам. Нелепым казалось, что он уступал матери принадлежавшее ему хозяйское место. Станным было и то, что он, человек, более чем обеспеченный, служил в сенатской канцелярии в Москве и довольствовался там весьма скромною должностью, по-видимому, во-все не ища такого назначения, где можно было бы получать чины и ничего не делать. Напротив, он, как говорили, работал в канцелярии не хуже обыкновенного чиновника, для которого служебное жалованье являлось единственным источником существования. Мало того, дома занимался он какими-то науками и вместо того, чтобы предаваться свойственным дворянину, имеющему полный достаток, удовольствиям, проводил время за книгами. Никто не ждал его ни участ-

ником в каком-нибудь кутеже, ни в театре, ни на балу, ни у цыган.

Такое поведение с точки зрения общественной, разумеется, предосудительным считаться не могло, но и одобрения далеко все-таки не заслуживало. Зачем дворянину сенатская служба и ляпка в канцелярии, зачем ему книги и вечное сидение дома, когда он должен управлять своим имением, то есть, говоря иными словами, тратить в свое удовольствие доходы с них? А между тем Денис Радович имение и дом и все оставил на руках матери, а сам «нудил в сенатской канцелярии и предавался чтению». И Дениса считали чудаком, немножко слабоумным, свихнувшимся человеком.

Занимал он в доме две комнаты в верхнем этаже с дверью на вышку, над балконом, выходящим в сад. Здесь у него было нечто вроде обсерватории, стоял большой телескоп, и здесь он проводил все теплые вечера весною, летом и осенью, хотя и зимой дверь на вышку не замазывалась, снег тут счищали, и Денис гулял. Иногда он запирался у себя наверху на целую неделю, и никто из домашних не видал его, кроме прислуживавшего ему казачка Васьки, который чистил ему платье, приносил обед и ужин, единственно допускался в его комнаты. Комнаты эти никогда не прибирались.

Лидия Алексеевна не трогала сына наверху и к нему туда не заглядывала. Она не препятствовала «чужакам» Дениса, по-видимому, разделяя мнение относительно его слабоумия. На одном только стояла она твердо: чтобы он перед ней пикнуть не смел, и действительно, Денис Иванович безропотно молчал перед ней, как молчал, бывало, покойный его отец.

Таким образом, властвуя сначала над мужем, потом – над сыном и не зная границ своеволия над крепостными людьми, Лидия Алексеевна держала себя с такою уверенностью в том, что никто ей перечить не смеет, что в это, как бы под влиянием внушения, верили и все, кто знал ее. Правда, со строптивыми людьми, желавшими перед ней иметь свое собственное суждение, она не зналась вовсе и не принимала таких у себя.

– Государь, – рассказывала она гостям на балконе, – остановится в своем новом Слободском дворце. Это – бывший дом графа Алексея Петровича Бестужева. Государыня Екатерина купила его у сына графа Алексея – Андрея и подарила князю Безбородке, а тот в прошлом году, когда государь приезжал сюда на коронацию, сделал фортель. Государь смотрел из окна на сад перед домом и изволил заметить, что недурной бы плац вышел для парада на месте этого сада. Князь

Безбородко в одну ночь велел снести сад, и на другое утро государь увидел готовый плац. Это ему так понравилось, что он купил дом у Безбородки и велел отделать его под дворец и приготовить к нынешнему своему посещению Москвы. Говорит, чудо роскоши...

Хотя все отлично знали не только историю нового Слободского дворца, но и «фортель» князя Безбородки, и даже то, что над устройством этого дворца спешно работали тысяча шестьсот человек даже ночью, при свечах, чтобы успеть к приезду императора Павла, все гости Лидии Алексеевны сделали вид, что ее сообщение ново для них и интересно, хотя об этом говорили давным-давно повсюду, и сама же Лидия Алексеевна рассказывала это не раз.

Одна только наивная Анна Петровна Оплаклина, вечно все путавшая, вставила свое слово:

– Как же, мне что-то говорили такое... В одну ночь и вдруг плац-парад – это как в сказке... Великолепно!..

– Ничего великолепного нет, – строго остановила ее Лидия Алексеевна, – пустая трата денег и больше ничего. Уж если сама государыня императрица Екатерина не делала этого...

Лидия Алексеевна в прошлом году сильно надеялась, что ей будут оказаны царские милости во время коронации, как вдове бывшего приближенного к отцу государя, но ошиблась в расчете и потому присоеди-

нилась к общему голосу недовольства на крутой поворот в режиме, сделанный императором Павлом после распущенности, к которой привыкли прежде.

Анна Петровна, сунувшаяся некстати со своею похвалой, сконфузилась и умолкла.

– Как же вы говорите «великолепно», – сейчас же накинулась на нее другая гостья. – Вот мне Жюли пишет из Петербурга, что нынче зимой гвардейским офицерам запретили с муфтами в холод ездить, и ее сын, «князь» Николай, чуть не отморозил себе руки!.. А вы говорите «великолепно!».

Эта другая гостья была известная всей Москве тетушка Марья Львовна Курослепова, у которой было бесчисленное количество племянников в Петербурге, и обо всех она тревожилась, хлопотала и заботилась. Маленькая, круглая, вечно суетливая, до всего ей было дело, и во все то она совалась.

– Впрочем, я ничего не говорю, – стала оправдываться Анна Петровна, – я вовсе не нахожу всего великолепным. Помилуйте, нынче я просила для моего калужского попа набрюшник...

– Набедренник, *ma tante*, – поправила ее племянница, сидевшая рядом с нею, некрасивая старая дева, которую она вывозила, но безуспешно.

– Ну, все равно, набедренник, – продолжала Анна Петровна, – и представьте себе, мне вдруг говорят,

что теперь это должно зависеть от духовного начальства, а вовсе не от меня. Какая же я после этого помещица?

– Да и в самом деле, какая вы помещица! – заявила Лидия Алексеевна. – Вы, я думаю, и озимых-то от яровых не отличите.

– Ну, вот еще! – обиделась Анна Петровна. – Я отлично знаю: озимые – это черный хлеб, а яровые – белый...

Все засмеялись...

– Прекрасно, прекрасно! – густым басом не то одобрил, не то сыронизировал Андрей Силыч Вавилов, генерал-поручик в отставке, единственный мужчина, находившийся в собравшемся у Радович обществе на балконе.

Андрей Силыч всюду бывал и держал себя с необыкновенным достоинством, даже гордо, но никогда не оскорблял никого, потому что, кроме своего любимого слова «прекрасно», ничего не говорил. Он и здоровался и прощался, и когда рассказывал что-нибудь или выражал сочувствие или даже порицание, – неизменно повторял одно только «прекрасно», не придавая даже различных оттенков произношению, а усвоив себе раз навсегда одно какое-то общее произношение октавой вниз, которое можно было принимать как угодно: и за иронию, и за одобрение,

и за насмешку, и вместе с тем за выражение полного удовольствия.

– Теперь тоже вот мне пишут из Петербурга, – забеспокоилась опять Марья Львовна, – что все дамы должны выходить на подножку кареты при встрече с Павлом Петровичем и делать ему реверанс.

– Как же это, у нас в Москве то же самое будет? Да ведь у нас грязь на улицах.

Марья Львовна была права. Грязь с московских улиц издавна, еще со времен Алексея Михайловича, собиралась на удобрение царских садов и была такова, что нередко из-за нее отменялись крестные ходы даже в Кремле.

– А правда, что император собирался сам служить обедню? – спросила вдруг Анна Петровна.

Марья Львовна вздрогнула и испуганно встрепенулась. Это было новостью для нее, а она при всякой новости вздрагивала, пугалась и, как воробей на заборе, настораживалась.

– Да не может быть! – ужаснулась она, не веря, однако, и думая, что Анна Петровна по своей привычке, вероятно, что-нибудь спутала...

– Это верно! – подтвердила старая дева, племянница Оплаксиной.

– Верно, – сказала и Лидия Алексеевна, – я доподлинно знаю, что и архиерейское облачение было уже



сшито для Павла Петровича. Только Куракины отговорили.

– А я слышала, что это сделали Нелидова с государыней, – вставила Анна Петровна, довольная на этот раз своим успехом.

– Куракины! – грозно обернулась в ее сторону Лидия Алексеевна, и та снова притихла.

– О господи! – вздохнула молчавшая до сих пор Людмила Даниловна, мать двух толстых девиц, одну из которых она в тайнике своих дум мечтала выдать замуж за Дениса Ивановича и потому усердно возила их и сама ездила на поклон к старухе Радович.

За маменькой сейчас же вздохнули обе толстые девицы и тоже сказали:

– О господи!..

Генерал-поручик мотнул головой и прорычал:

– Прекрасно!..

– Повсюду доносы, – сердито начала Лидия Алексеевна, – даже на холопские жалобы обращается внимание, и для облегчения ябед в Петербурге во дворце сделан ящик, куда всякий может класть письма прямо государю. До сих пор только дворяне имели право писать прямо государю, а нынче – все.

– Прекрасно! – повторил Вавилов.

Лидия Алексеевна обернулась в его сторону, как бы спрашивая, что именно он осмеливается находить тут

прекрасным, но генерал-поручик светло и ясно глянул ей в глаза, и вышло так, что прекрасным он, собственно, считает, что дворяне имели право писать государю до сих пор, а что нового, то есть что теперь пишут все, он вовсе не одобряет.

Лидия Алексеевна успокоилась.

– А фраки! – воскликнула Марья Львовна. – Фраки запретили носить военным. Нынче, не угодно ли, в мундире постоянно ходят. Даже в гостиной. Разве гостиная – казарма? Мне племянник пишет из Петербурга, фельдмаршалы на параде в одном мундире во всякую погоду маршируют, старики!

– Это – уже последняя капля в море! – серьезно заметила Анна Петровна.

– В чаше, ma tante! – поправила ее племянница.

– В какой чашке? – не поняла та.

– В суповой! – проворчала насмешливо Лидия Алексеевна.

Анна Петровна окончательно смутилась, виновато посмотрела на нее, потом на племянницу и, во избежание дальнейших недоразумений, не стала настаивать на объяснениях.

Марья Львовна, словно теперь только рассердившись, начала быстро перебирать спицами своего вязанья, которого никогда не выпускала из рук, и заговорила быстро, в лад заходившим спицам сыпля сло-

ва, как будто до сих пор не давали говорить ей, и наконец-то она добилась, чтобы ее прослушали:

– Да помилуйте, ради бога! Нынче запрещено подавать просьбы со многими подписями, так что дворянам и о своих делах нельзя хлопотать совместно! В одиночку же никто не пойдет... Холопов крепостных к присяге привели на верность! Никогда этого не бывало. Всегда исстари мы за них присягали, и дело с концом. Нынче и дворового не накажи, а не то, того и гляди, под следствие попадешь! Да, знаете ли, до чего дошло? В Петербурге велено все заборы и ворота под цвет будок полосами выкрасить, черной, белой и оранжевой красками... Говорят, эти краски так вздоржали, что к ним прицена нет...

Лидия Алексеевна одобрительно кивала головой на речь Марьи Львовны, Анна Петровна слушала и старалась запомнить, что говорили, сидевшая с ней племянница безучастным взглядом уставилась на небо, генерал-поручик имел такое выражение, что вот сейчас произнесет свое «прекрасно».

А маменька двух толстых дочек, Людмила Даниловна, старалась изо всех сил показать, что она понимает и сочувствует, хотя многого решительно не могла взять в толк. Положение ее было в данном случае вполне безнадежно, потому что и объяснить ей хорошенько было некому.

Две ее толстые дочери одинаково с нею скучали, не понимая ничего, и думали лишь об одном: как бы сдержать нескромный зевок, того и гляди готовый заставить широко раздвинуться их челюсти.

Людмила Даниловна никогда в политику не вмешивалась и весь свой век провела в хлопотах чисто домашних. В девичьем же возрасте она была очень сентиментальна и в свое время отличалась тем, что умела говорить по-модному и знала все модные словечки наперечет. Понедельник называла «сереньким», вторник – «пестреньким», среду – «колетцой», четверг – «медным тазом», пятницу – «сайкой», субботу – «умойся», а воскресенье – «красным».



Денис Иванович стоял на своей вышке и, облокотясь на перила, глядел на позолоченную заходящими лучами солнца верхушку колокольни. Снизу к нему доносился разговор на балконе. Сначала он не обращал на него внимания, но потом стал прислушиваться.

Он не терпел несправедливости, даже когда она происходила от вполне искреннего заблуждения. У него, в его думах, успел выработаться и твердо установиться свой собственный взгляд на императора Павла, два года уже правившего Россией, и все, что говорилось внизу, на балконе, не только противоречило этому взгляду, но и было совершенно превратно, неверно и несправедливо, по глубокому убеждению Дениса, основанному на фактах, которые были хорошо известны ему.

У него был как бы некоторый культ, своего рода институтское обожание к Павлу Петровичу, и он уделял часть своих занятий на писание записок о царствовании этого государя, для чего пользовался указами из сената, тщательно списывая наиболее интересные из них.

По мнению Радовича, императора Павла мало зна-

ли и мало ценили. Он составлял свои записки не для современников, но для потомства, надеясь, что когда-нибудь они послужат на пользу истины. В минуты увлечения он пытался даже писать историю царствования Павла, забывая, что этому царствованию было всего лишь два года и что нельзя писать историю, пока живы толки, мелкие сплетни и пересуды современников и, чтобы видеть лес, нужно отойти от него, не то заметишь только отдельные деревья или, что еще хуже, не увидишь ничего больше кустарника.

«Нет, они не то говорят, не то говорят!» – морщась и страдая, думал Денис, вслушиваясь в разговор внизу.

Наконец, он не выдержал, сорвался с места и кинулся бегом по лестнице вниз на балкон.

Появление его, несколько внезапное, довольно шумное и порывистое, произвело некоторый переполох. Прежде всего он сам, очутившись на балконе, как будто смутился в первую минуту. До него долетал только разговор, но, как сидели разговаривавшие, какие у них были лица в это время, он не мог видеть, и теперь, вдруг очутившись среди них, увидел и смутился. Мать его важно восседала в кресле в углу, выпрямившись и положив руки на локотники, наподобие египетских статуй. Возле нее, немножко поодаль, была маленькая, кругленькая Марья Львовна Курослепова с работой на коленях. Остальные сидели за чай-

ным накрытым столом, уставленным сервизом, вазами и закусками.

При появлении Дениса все обернулись и стали смотреть на него. Марья Львовна умолкла, и вязанье у нее остановилось. Генерал-поручик, бывший ближе других к входной двери, сделал было движение к Денису, как бы желая, в случае чего, остановить его, но сейчас же откинулся на спинку стула и улыбнулся, словно сказал: «Прекрасно!» Толстые дочери сентиментальной мамыши испуганно схватились под столом за руки, а сама мамаша приняла такую, позу, что вот сейчас, если это будет нужно, она упадет в обморок. Анна Петровна обомлела, а племянница ее перевела только бесстрастный взгляд, вперенный до сего в небо, на Дениса Ивановича.

Он же почувствовал, что ему нужно сделать или сказать что-нибудь, потому что все ждут этого. Он помотал головою и сказал:

– Неправда!..

Сантиментальная мамаша, немедленно раздумав падать в обморок, привстала, выразив желание исчезнуть. Дочки ее отшатнулись в ее сторону. Марья Львовна оглянулась на Лидию Алексеевну, как бы спрашивая ее: опасно или нет, то есть сын ее совсем сошел с ума, или же он по-прежнему тихий и никого не тронет?

Лидия Алексеевна грозно уставилась на сына, но, всей своей фигурой говорила: «Не бойтесь! Если что, так я тут», и вместе с тем взгляд ее, устремленный на Дениса, хотя и выражал «посмей только», но в нем, где-то сзади, как будто вспыхнуло беспокойство.

– Неправда, все, что вы говорили, – неправда, – повторил Денис. – А затем вдруг его голос сделался необыкновенно тих, вкрадчив и приятен. Он точно ласкал им, желая и прося, чтобы его выслушали и поверили ему. – То есть тут есть и правда, – сейчас же запутался он, как бы ища того русла или желобка, по которому могла бы плавно потечь его речь, – правда, что не позволяют офицерам ходить с муфтой; но какой же военный может бояться холода? Я – не офицер, а никогда муфты не ношу. И ничего!

– Блаженные и босыми зимой ходят, – проворчала Марья Львовна, не любившая Дениса, и снова зашевелила спицами.

Она успокоилась, когда Денис заговорил плавно, а за нею и остальные. В глазах Лидии Алексеевны, все еще строго глядевших на сына, блестела уже одна только угроза.

– И пусть ходят, – продолжал он, избегая взгляда матери, – пусть! И это ничего. А дамам из карет велено выходить для того, чтобы они безобразных фижм не носили. Государь против роскоши. А фижмы такие



носят и на платье столько материи расходуют, что из нее три платья можно сшить, и когда дама садилась в карету, то фижмы из окон торчали. Вот государь и велел, чтобы дамы выходили. С фижмами не выйдешь. И перестали носить их.

– А государыня Екатерина не так поступала, – обернулась, перебивая Дениса, Марья Львовна к Лидии Алексеевне. – При ней вышли шляпки безобразного фасона. Она и велела двенадцать баб нарядить в эти шляпки и заставить их мести улицу. После этого никто не надел.

– А разве это хорошо? – спокойно спросил Денис, останавливая этим послышавшийся кругом смешок. – За что же над бабами-то надругались, заставив их выйти на позор в дурацком одеянии? Разве они – не люди? А каково им было? А чем они виноваты? Нет, так не хорошо! А тут просто сами же отвечают те, что носят фижмы! И никогда государь сам обедню служить не собирался. Это вот – уж неправда. Я знаю это. Для него был заказан у духовного портного парчовый далматик, в какой облачаются архиереи, но потому, что это – одеяние грузинских царей, и он хотел надеть его как властитель присоединенной к России Грузин. А сказали, что он обедню хочет служить. Вот вздор! А что ящик для просьб велел государь поставить, так это для того, чтобы всякий доступ к нему имел, а во-

все не для доносов. Военным же своего мундира в гостиных стыдиться не приходится, они умирать идут в нем. Эта одежда почетнее куцега фрака с хвостиками, чтобы, от долгов удирая, было чем след заметить. Красить забора под цвет будок не государь велел, а его именем полицмейстер Архаров распорядился и за это был отставлен от должности. В том-то и беда, что император Павел не может людей найти себе в помощники, которые бы умело исполняли его волю. А начинания у него самые благие. Видно, что он много думал о пользе России! И посмотрите: с самого восшествия его на престол идут указы, один важнее другого. Нет отрасли государственного хозяйства, о которой он не подумал бы. Восстановлены берг-, мануфактур- и коммерц-коллегии; заведены вновь конские заводы, разрешено купцам и мещанам торговать не только в рынках и гостиных дворах, но повсюду; впервые в России начали рассчитывать государственные доходы и расходы, а до сих пор никто не знал достоверно, сколько их. Наново разделено государство на губернии и упорядочено управление ими. Духовенство изъято от телесного наказания. В армии введена дисциплина, учреждены медицинские управы; да, куда ни обернись, всюду вводится порядок, всюду чувствуется заботливая рука хозяина. И все это делает император Павел один, потому что нет у него помощ-

ников достойных, какие были у императрицы Екатерины! Посмотрите на язык указов императора Павла; сжатость, краткость, нет лишних слов. Говорится одно дело...

– Прекрасно! – произнес генерал-поручик, давно уже молчавший и почувствовавший чисто физическую потребность подать свой голос.

– Ну, вот, – обрадовался Денис, принимая за похвалу себе слово генерал-поручика, – вот я и говорю! А при Екатерине только разглагольствования одни были в указах, и ничего больше... Вот, – он достал из картонки бумагу и стал читать, – вот как писали при Екатерине: «Дворянство да прилежает к службе государственной и домостроительству, отчуждаясь от всего противного и предосудительного званию их. Купечество и мещанство да положат в основание торгам и промыслам их добрую веру, честность и благоумную осторожность противу мечтательных соображений, нередко под лъстивыми видами безмерного прибытка подвергающих разорению. Земледельцы да приложат руки к размножению земледелия...»

– Прекрасно! – проговорил на этот раз от души генерал-поручик, искренне прельщенный витиеватым слогом указа.

Денис, никак не ожидавший, что его чтение произведет действие, как раз обратное тому, какое он хотел

произвести, перестал читать.

– Что ж тут прекрасного! – обиделся он. – Тут одни пустые слова: «да прилежает», «да положат»... Наговорено много, а дела никакого. Все-таки дворянство не прилежало к службе до тех пор, пока Павел Петрович не заставил его служить как следует и являться вовремя военных на ученье и штатских в присутствии... Торговля была стеснена... Одними словами помогать ей – значило только смеяться.

– Это что ж ты, голубчик? Поскольку я смекаю, – вдруг спросила Марья Львовна, вынув спицу и почесывая ею за ухом, – ты о покойной императрице с вольностью желаешь рассуждать?..

– Не рассуждать хочу, – пояснил Денис, – а говорю только, что у нее на людей в начале царствования счастье было, а Павлу Петровичу – несчастье.

– Матушка Екатерина умела выбирать их, – настаивательно заметила Марья Львовна. – Потемкин, Орловы, Бецкий, Суворов – какие люди-то!..

– Да нет же, – почти крикнул болезненно Денис, – эти сами явились, и Екатерина не выбирала их. Они, скорее, выбрали ее... А что она сама выбрала князя Платона Зубова, например, так он бездарностью был, бездарностью и остался. Кабы она умела выбирать, так Зубова не выбрала бы...

– Да он у вас вольтерьянец! – решила Марья Львов-

на, обращаясь к Лидии Алексеевне.

При слове «вольтерьянец» на лице Людмилы Даниловны, сантиментальной маменьки толстых дочек, изобразился неподдельный ужас. Хорошенько значения этого слова она не знала, но страшно боялась, потому что со времени своего пребывания еще в институте привыкла считать его не только предосудительным, но и неприличным. Однако остановить Марию Львовну она не посмела и, обернувшись к Денису, сказала, блеснув глазами:

– Мне все равно, но пожалейте невинность!..

И она показала на своих толстых дочек.

Обе «невинности» зарделись, как маков цвет, и стиснули друг другу руку.

– Пошел вон, дурак! – раздался строгий голос Лидии Алексеевны, и на этом закончилось заступничество Дениса и прекратилось его красноречие.

Тридцатичетырехлетний Денис Иванович сморщился, втянул голову в плечи и, ничем не ответив на нанесенное ему матерью оскорбление, повернулся и ушел.

## IV

– Ты мне скажи, пожалуйста, – приставала Анна Петровна к племяннице, сидя с ней в карете на обратном пути от Радович, – я не могу в толк взять, о какой чашке вы говорили там?

– Когда, ma tante? – переспросила племянница, смотря в окно поверх низеньких обывательских московских домов на небо, где давно уже зажглись звезды и ясно обозначился Млечный Путь.

Анна Петровна заворчалась в своем углу кареты.

– Какая такая суповая чашка? – заворчала она. – И какие нынче молодые люди на свете объявились! Влетел, как сумасшедший, напугал всех и турусы на колесах, как бобы, разводить начал. Да он и есть сумасшедший. Вот уж подлинно говорится – поставь дурака на колени, он и Богу молиться начнет... Валерия, ты спишь?..

Валерия не спала, но не отвечала на ворчание тетки, не вслушиваясь даже в него. Она смотрела на небо, на звезды, занятая своими собственными мыслями.

Анна Петровна по своему добродушию и по простоте не принадлежала ни к какому особому «приятельскому кружку», имевшему какое-нибудь свое направ-

ление или какую-нибудь определенную окраску. Она не только бывала везде (везде бывали все в Москве, и все в Москве знали друг друга), но и считалась приятельницей с самыми различными представительницами крайних направлений. Поэтому на другой день, утром, после проведенного интимного вечера у Радович, Анна Петровна, ничуть не стесняясь, отправилась с племянницей в совершенно противоположный лагерь – к Лопухиным.

Она знала, что Лопухина недолюбливала Лидию Алексеевну, и последняя сторонилась Лопухиных, но считала, что это происходит просто от взаимной их антипатии, а насчет того, к какому лагерю принадлежали, она не задумывалась и не разбирала. Это было слишком сложно для нее, и, наверное, она все бы перепутала.

К Лопухиной она явилась в сопровождении своей неизменной Валерии, с тою же самой радостно-приветливой улыбкой, с какою вошла вчера к Радович, и просидела у нее весь вечер.

Екатерину Николаевну Лопухину, рожденную Шетневу, она знала, когда та была еще девочкой, знала и ее отца, Николая Дмитриевича, и всегда к ним относилась хорошо, по своей привычке все путать, потому что, строго говоря, к Екатерине Николаевне можно было хорошо относиться, только забыв, какая она

была женщина. Про нее ходили слухи, и очень упорные, что она была до своего замужества в близких отношениях с вновь пожалованным при воцарении Павла Петровича светлейшим князем Безбородко, который выдал ее замуж за Петра Васильевича Лопухина, вдовца, милейшего, честнейшего человека, отличного служаку, всецело поглощенного своими делами и верившего в свою жену. Он был назначен после свадьбы генерал-губернатором ярославского и вологодского наместничества.

Отец же Екатерины Николаевны, Николай Дмитриевич Шетнев, был правителем вологодского наместничества.

От первого брака у Лопухина была дочь Анна. От Екатерины Николаевны был сын Павел. Мачеха была на четырнадцать лет старше падчерицы.

До своего выхода замуж за Лопухина Екатерина Николаевна пережила очень неприятное время вследствие ходивших слухов о близости ее к Безбородке. На нее косились в обществе, донимали ее разными намеками, а то и просто отворачивались. Люди же, которые хотели получить что-нибудь от ее покровителя, подличали пред нею, и эта подлость была еще оскорбительнее презрения.

Одна Анна Петровна Оплаксына, ни на что не обращающая внимания, относилась к ней всегда одинаково.



во ровно, как относилась ко всем, и за это Екатерина Николаевна одну только ее и любила.

Оплаксина вошла с племянницей к Лопухиным без доклада, как своя, и застала Екатерину Николаевну за делом: у нее шла примерка только что принесенных нарядов для падчерицы. Екатерина Николаевна с энергичным, сильно выдававшим ее тридцать пять лет, однако, все еще красивым, несмотря на положившую на него отпечаток прошлую жизнь, лицом, сильно размахивая руками, делала замечания француженке-портнихе и, по-видимому, вовсе не обращала внимания на стоявшую посреди маленькой гостиной перед зеркалом падчерицу, словно это была не она, а безгласная кукла. Должно быть, замечания были неприятны и ядовиты, потому что француженка злилась и кусала себе губы.

– Ах, это вы, Анна Петровна? – встретила Лопухина гостью. – Здравствуйте, голубушка! Ну, вот посмотрите, посмотрите, – показала она на воздушную белую атласную накидку с кружевами, надетую на ее падчерицу Анну.

Анна Петровна осмотрела в лорнетку накидку; та понравилась ей и потому она сейчас же сказала:

– Ну, что ж? По-моему, прекрасная *partie de plaisir*.

– *Sortie de bal, ma tante*, – поправила ее племянница, на низкий реверанс которой Екатерина Николаев-

на даже кивком головы не ответила.

– Прекрасная-то прекрасная, – проговорила Лопухина, – я сама выбирала и фасон, и кружева, но плечи тянет. Вот видите, все находят, что в плечах недостаток, – обернулась она к портнихе по-французски, – надо переделать, чтобы горба не было, а то она горбатая в вашей накидке...

Это должно было быть особенно обидно французенке, у которой у самой была фигура сутуловатая. Она вспыхнула, почти сорвала накидку и откинула ее в сторону с сердцем. Анна, освобожденная, стала здороваться с Валерией.

Екатерина Николаевна показывала в это время Анне Петровне бальное платье, которым она была довольна.

– Мне кажется, слишком уж открыто, – стыдливо заметила Анна, взглядывая на Оплаксину.

– Платье по последней моде, – не обращая внимания на падчерицу, возразила Лопухина, – не правда ли, хорошо?

– Очень, – похвалила Оплаклина, – но, может быть, и правда – слишком открыто.

– Это-то и нужно, – заявила Екатерина Николаевна.

– Ну, тогда конечно, – согласилась Анна Петровна, хотя и не поняла, зачем было нужно, чтобы платье было очень открыто.

– Так вот накидку переделайте, – обратилась Лопухина к портнихе, – а остальное оставьте.

Французенка вскинула плечами и унесла накидку, ничего не сказав и не простившись.

– Хорошо шьет, но характер – ужасный! – проговорила ей вслед Екатерина Николаевна и стала снова перебирать принесенные наряды, любясь ими.

По совершенно особым обстоятельствам ей необходимо было, чтобы падчерица явилась на балу, который был назначен во дворце в первый же день приезда государя, лучше всех. Потому она не пожалела денег и заказала такое платье для Анны, что действительно можно было ахнуть.

Валерия опытным взглядом старой девы оценила уже платье и, сев с Анной у окна, смотрела в потолок, потому что на небо нельзя было смотреть – слишком яркое солнце светило в окна. Она, вопреки тому, что тетка даже в глаза называла ее иногда «старое диво», не завидовала ни молодости, ни красоте Анны, ни наряду, который был сшит для нее. Она давно уже привыкла, подняв глаза, относиться вполне безучастно ко всему, что делалось вокруг нее внизу, на земле, и только почти непроизвольно следила за тем, что говорит тетка и, как эхо, поправляла ее, не отрываясь от своих мыслей.

У Лопухиной горели глаза, и она не скрывала своего

волнения, ежеминутно прорывавшегося у нее в каждом слове и движении. Она определенно принадлежала к партии нового двора, готовилась играть там роль и потому считала необходимым знать все, что говорят. Занятая сложным делом обдумывания заказов и примерки туалета для красавицы падчерицы, она прислушивалась ко всем толкам, следила и волновалась, как азартный игрок, желающий сыграть наверняка на крупную ставку.

– Ну, где вы были, что слышали? Рассказывайте! – стала расспрашивать она Оплаксину, беря с нею прямо быка за рога, без всяких подходов и околичностей.

– Да где же я была? – начала Анна Петровна. – Ах, вот, вчера, кажется, у Лидии Алексеевны Радович вечер провела... Валерия! – окликнула она племянницу. – Ведь мы вчера у Радович были?

– Вчера, ma tante...

– У Радович! – проговорила Екатерина Николаевна. – Это интересно! Ну, и что ж?

Она знала, что Радович считалась принадлежащей к старому екатерининскому кружку.

– Ну, и ничего! – протянула Анна Петровна, уверенная, что рассказывает, и рассказывает интересно.

– Кто же был?

– Людмила Даниловна с дочерьми, Вавила Силыч...

– Андрей Силыч Вавилов, ma tante, – прозвучала отголоском Валерия.

– Ну, да, генерал-поручик, Курослепова, Марья Львовна...

– Ну, что ж она?

– Ничего!..

«Ничего от нее не добьешься! – мелькнуло у Екатерины Николаевны. – Такая размазня!..»

– Говорили же вы о чем-нибудь! – с досадой сказала она. – Вероятно, о предстоящем приезде государя говорили?

– Да, сын Лидии Алексеевны напугал нас.

– Напугал? Он, говорят... У него не все дома, – и Екатерина Николаевна повертела пальцами предлобом.

Валерия перевела взор с потолка на нее, глянула, ничего не сказала и снова стала смотреть в потолок.

– Да просто сумасшедший, – сказала Анна Петровна, – влетел на балкон, и так это рассуждать начал. Он, говорят, – однодворец...

– Как однодворец?

– То есть не однодворец, а как их зовут... ну, все равно... как бишь их...

Валерия стиснула зубы и не приходила ей на помощь.

Про Анну Петровну сочинили нарочно, что она пу-

тает «вольтерьянец» и «однодворец». Однако кто-то сказал ей это, и она с тех пор начала действительно путать. Новых же страшных слов – «якобинец» и «карбонарий» – она не знала.

– Неужели он в якобинцы записался? – переспросила Лопухина.

– Нет... не так, – возразила Оплаксына, – а как это, ну, вот он еще: кресла такие делал...

– Вольтерьянцем стал! – улыбнулась, поняв наконец, Екатерина Николаевна.

– Ну, вот, вот, я говорю, кресла.

– Так ведь если он не в своем уме, то это не опасно.

– Как не опасно, матушка? Ведь влетел, спасибо Вавила Прекраснов был тут... А то до смерти перепугал бы... И так это говорить начал про государыню...

– Марию Феодоровну?

– Да нет же, Екатерину Алексеевну, про покойную...

– Вот как! Что же он говорил?

Лопухина, желая подробно узнать, что говорил Радович, и не надеясь на Анну Петровну, поглядела на ее племянницу, спрашивая у нее ответа.

Валерия, не вступавшая до сих пор в разговор, потому что при старших девушкам разговаривать не полагалось, двинулась слегка и, получив разрешение подать голос, стала очень толково и последовательно передавать все, что вчера говорил Денис Иванович.

Она хорошо запомнила все его слова и повторила их сжато и понятно.

Екатерина Николаевна слушала с большим вниманием.

– Что же, все это отлично с его стороны, – проговорила она, когда Валерия кончила. – Так он, по-видимому, человек, преданный Павлу Петровичу?

– Всецело! – воскликнула Валерия.

Лопухина задумалась, помолчала, сложив на стол руки и склонив голову набок, потом улыбнулась и произнесла, как бы сама себе, но все-таки настолько громко, что все слышали:

– Je crois que j'ai шоп homme!<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Полагаю, что это настоящий человек, который нужен (фр.).

## V

В понедельник, десятого мая, император въезжал в Москву, и с самого раннего утра народ толпился на Тверской, по которой должен был он проследовать в Кремль, прямо на литургию в Успенский собор.

Две недели уже исправляли мостовую по всей правой стороне царского пути, и она была заставлена рогатками, так что проезда не было. Сегодня рогатки сняли; исправленную мостовую посыпали песком, и стена народа вытянулась вдоль нее, сдерживаемая дудочниками и солдатами.

Денис Иванович, в простом сером кафтане, шерстяных чулках и в обывательской широкополой шляпе, пошел нарочно в толпу, желая слиться с нею при встрече государя. Он шел именно приветствовать его, а не «смотреть» только на его въезд откуда-нибудь из окна или с балкона, словно это был спектакль, составляющий занятное зрелище и больше ничего. Он хотел, чтобы его клик слился с тысячами встречных, приветственных кликов, которые понесутся из народной толпы.

Выходя из дома, Денис Иванович был уже торжественно настроен, и это торжественное настроение нарастало и увеличивалось в нем по мере приближе-



ния к Тверской, куда шли и бежали, обгоняя его, такие же, как и он, руководимые тем же, как и он, чувством.

«Царь в Москве! – повторял себе Радович, расплываясь широкою умиленною улыбкой. – Царь в Москве!»

И соединение этих слов казалось ему необыкновенно трогательным и полным таинственного, великолепного, возвышенного и радостного смысла.

Он был уверен, что все кругом, кроме, конечно, закоренелых в распущенности бар прежнего царствования, понимали, что почти в течение целых ста лет Россиею управляли женщины и что изнеженность двора, а за ним и общества, дошла до последних пределов для нас, русских. И вот, наконец, воцарился император, круто повернувший прежние порядки и сильной рукой взявший бразды правления. По тому, что успел сделать государь, по той энергии, с которою он вел дело, добываясь правды, справедливости и действительной работы, Радович сравнивал Павла с Петром Великим и находил, что и тому, и другому выпала на долю почти одинаковая по трудности работа. Разница состояла лишь в том, что наряду с недовольными при Петре были и такие, что понимали его, а вокруг Павла Петровича никто не был доволен.

«Но зато народ, тот народ, на пользу которого клонится всякое его распоряжение, народ, признанный

ныне за людей, впервые приведенный наравне с другими сословиями к присяге, – думал Денис Иванович, – должен понять со временем, что желал сделать для него император Павел!»

И Радович, как-то особенно лихо двигая плечами и размахивая руками, вышел на Тверскую и оглянулся.

Сердце его словно окунулось в радостное, светлое чувство. Тут было именно то, чего он ожидал. Море голов, терявшееся вдали в утреннем весеннем тумане, казалось бесконечным и налево, к заставе, и направо, вниз, к Кремлю.

В темной рамке народа пролежала усыпанная песком желтая, широкая, словно девственная по своей чистоте, дорога, от которой почтительно пятились по обе стороны люди, боясь топтать путь, приготовленный для царского проезда. И небо как будто здесь было еще светлее, чем всюду кругом. И эта толпа, и усыпанная песком улица производили бодрящее, праздничное впечатление. Всюду – и в окнах, и на крышах домов, и на заборах, и на деревьях виднелись люди.

«Хорошо, любо!» – одобрил Денис Иванович, оглядываясь и входя в толпу, успевшую уже сжиться и освоиться с моментом.

Ему всегда нравились та равноправность, общность и какое-то дружное товарищество, которое обыкновенно устанавливается в русской толпе, по ка-

кому бы поводу ни собралась она. Сколько раз его в толпе толкали, давили: ему всегда только весело было, так же весело, как когда тут же мужик обращался к нему с простодушной шуткой.

На этот раз Радович не полез в первые, тесные ряды, а решил держаться сзади, наметив для себя выдающийся карниз на фундаменте каменного домика, на который можно было удобно привстать в нужный момент. Тут, у стены дома, было гораздо свободнее. Можно было двигаться, наблюдать и вдоволь любоваться собравшимся народом.

С первого же взгляда Дениса Ивановича умилил молодой парень в цветной рубахе навыпуск и в сапогах. Парень, широколицый, курносый, стоял, растопырив руки и ноги, и широко улыбался, главным образом тому, что на нем были праздничные рубаха и сапоги, и он чувствовал себя поэтому очень хорошо и весело. Умилил же он Дениса Ивановича тем, что надел сегодня именно праздничную рубаху, идя в толпу, чтобы встречать государя. Ведь в этой толпе государь и не заметит его; да не только государь, – никто не обратит на него внимания, а вот он все-таки надевает лучшее, что может, потому что сегодня праздник – царь в Москве!

«Молодец, право, молодец!» – решил Радович.

Но сейчас же его внимание привлекла старушка

разносчица, продававшая грошовые леденцы и другие сласти в лукошке, висевшем у нее через плечо на веревке. Старушка показала Денису Ивановичу славной и вместе с тем жалкою.

– Что, бабушка, как торговля идет? – заговорил он с нею.

Она оглядела его: зачем он, дескать, у нее спрашивает, и не желает ли он просто посмеяться над ней или выкинуть какую-нибудь штуку? Она привыкла вести торг больше всего с ребятами, а купцов, или, еще пуще, господ, очень боялась.

– Ну, продай мне что-нибудь, – предложил Радович.

– А что тебе надоть? – все еще недоверчиво усомнилась старушка.

Денис Иванович посмотрел в ее лукошко. Там и товара-то было много-много рубля на два.

– А вот что, – решил он, – хочешь, я все у тебя куплю? Сколько возьмешь за всё? Я три рубля дам...

Он думал, что чрезвычайно обрадует старушку и, обрадовав ее, хотел обрадовать окружающих, в особенности сновавших там мальчишек, раздав им все сласти; но разносчица не поняла.

– За что три рубля? – переспросила она.

– Да вот за весь твой товар.

– За весь? Ты, значит, все купить хочешь?

– Ну, да, все, и три рубля тебе дам.

Радович старался говорить как можно серьезнее, чтобы убедить, что он не шутит, и поспешил достать деньги даже.

Старуха растерялась. Около них составился уже кружок.

Почтенный мещанин считал долгом вмешаться в дело и стал объяснять, что барин хочет наградить торговку, дав ей за ее товар такие деньги. Он признал в Радовиче барина потому, что то, что тот хотел сделать, было, по его мнению, так глупо, что только барин был способен на это.

Разносчица, наконец, поняла, но нисколько не обрадовалась.

– А чем же я торговать буду, если тебе все продам? – заявила она и, став на этом твердо, наотрез отказалась от сделки.

Она растолкала своим лукошком себе дорогу и ушла, как будто даже недовольная, что хотели сделать так, чтобы ей «торговать было нечем».

В тупой, неожиданной несообразительности разносчицы и даже в самой манере ее вопросов и ответов было много такого, что напомнило Денису Ивановичу разговоры приятельниц его матери – Оплаксихой, Курослеповой и других.

«Чем она, право, хуже их?» – подумал он про разносчицу.

Хотя общее мнение стоявших кругом о Радовиче было такое же, как и почтенного мещанина, то есть, что он хотел поступить глупо, но все-таки это возбудило к нему сочувствие и дало ему популярность в ближайших рядах. И молодой парень в праздничной рубахе, и мальчишки, и почтенный мещанин, и все остальные сейчас же признали в Денисе Ивановиче уже «своего барина», которого они не дадут в обиду, причем это отношение было вовсе не служебно-почтительное, а любовно-покровительственное, как к существу чудному и, скорее, слабому. Радович хотел отойти в сторону, но остальные двинулись за ним, видимо, ожидая от него еще какой-нибудь выходки.

На карниз фундамента присел мальчишка, продававший длинные, сухие, мучные белые пряники. Торговля у него шла бойко, благодаря давно установившемуся приему сбыта такого товара. Это была своего рода азартная игра. Покупатель платил мальчишке за два пряника грош и ударял ими о край его лубочного лотка. Если пряник разламывался на три части, а не на две или больше, то покупатель получал лишний пряник даром. Особенно подростки азартничали тут.

Радович подошел к лотку с пряниками, и сейчас же все расступились пред ним. Он купил два пряника, попробовал ударить, – они сломались на две части. Это его подзадорило.

– А ну-ка, ты сам попробуй, – предложил он мальчишке, – хочешь, за каждый сломанный на три части я буду платить по два гроша, а если нет, то беру пряник даром.

Мальчишка тряхнул только головою, подмигнул и – раз, раз – стал ударять пряниками о край лотка, и все они у него разлетались на три части.

– погоди, давай мне! – увлекся Радович, и стал сам пробовать.

Кругом принимали живейшее участие в барине, давались советы, высказывались одобрения и поощрения. Бежал радостный гул, когда Радовичу удавалось разломить пряник на три части. Куски и крошки летели. Денис Иванович горстями раздавал обломки. Веселье стояло общее.

– Коллежский секретарь Радович, что это вы делаете? – раздался вдруг строгий голос.

Денис Иванович остановился с пряником в руке, осмотрелся и увидел, что из окна дома, у которого происходило все, высунулась голова сенатора Дрейера, самого сухого, важного и старого служаки из всех его начальников. Этот сенатор был человек, до того преданный своим служебным занятиям и поглощенный ими, что, когда его спрашивали, например, не слышал ли он о Шекспире, он морщил лоб и, не обинюясь, отвечал: «В московских департаментах прави-

тельствующего сената дела господина Шекспира за последние десять лет не было». Он даже с французской литературой знаком не был и про Мольера говорил, что люди достоверные ему свидетельствовали, что это – хороший писатель, а потому он его может признать.

Дни Дрейер проводил либо в сенате, либо дома за делами и решительно никуда не ездил.

Он и сегодня воспользовался тем, что ему, как лютеранину, не нужно было ехать в Успенский собор к обедне, а до общего приема во дворце еще было много времени, и сидел у себя дома, занимаясь и заперев окна, чтоб не мешала ему толпа на улице. Но увеличившийся шум под окнами заставил его посмотреть, что там такое. Он поднял окно, высунулся и, к ужасу своему, увидел, что причиной шума было предосудительное поведение служащего в канцелярии сената коллежского секретаря Радовича, занимавшегося мальчишеской игрою ломания пряников!..

Дрейер остолбенел и уставился на Радовича, выглядывая из поднятого окна, которое придерживал одной рукою.

– Что вы тут делаете? – строго повторил он, блестя очками. – Вы затеваете скандал!

Но в это время издали слышался перекатный гул приближавшегося «ура», толпа всколыхнулась, дви-



нулась, раздались возгласы: «Едут, едут!..» – и через миг все уже гудело у дома сенатора Дрейера.

– Урра-а-а! – вместе с другими, надсаживая грудь, заорал Денис Иванович, забывая все: и пряники, и сенатора, и ничего еще не видя.

По замелькавшему движению на усыпанной песком дороге, по крику и по поднявшимся шапкам он понял, что пропустил момент; он вскарабкался на карниз, глянул и ничего не мог разобрать: виднелись перья султанов, военные, верховые, коляски; все это уже пронеслось мимо, а сзади, толкаясь и давя друг друга, бежала толпа, хлынувшая радостным, широким, шумным потоком, сметая и сравнивая всех на своем пути.

– Урра! – во все горло не переставал орать Радович.

Сенатор Дрейер с сердцем захлопнул окно. Этот неистовый крик мешал его занятиям, и он был очень недоволен этим.

## VI

Хотя Денис Иванович так и не видел государя, но видел самое главное – проявление восторга к государю, сам участвовал в этом проявлении и вернулся домой счастливый и охрипший.

Дома ждал его конверт из сената, и в этом конверте был пригласительный билет на сегодняшней бал во дворце, который государь давал московскому дворянству.

Радович, по своему незначительному чину и занимаемой должности, не мог быть приглашен на придворный бал как служащий. Как дворянин же, он по летам не мог рассчитывать на эту честь, потому что, как ему было достоверно известно, и постарше его дворяне добивались приглашения, но напрасно. Поэтому он и не думал о бале и не хлопотал, – и вдруг кто-то вспомнил о нем и прислал ему билет. Кто же это?

Мать его, прежде чем достать билет для него, постаралась бы сама попасть на бал, но тогда она готовилась бы к нему, наверное, сшила бы себе новое платье и новые ливреи лакеям. Об этом знал бы Денис Иванович. Да и на днях еще она ответила с раздражением Анне Петровне, сунувшейся было к ней с

вопросом, будет ли она на балу во дворце: «Стара я, матушка, чтоб по балам разъезжать!..»

И по тому, как она ответила это, Денис Иванович, зная мать, увидел, что ей очень досадно, что она не имеет возможности быть на балу. А ему прислан билет!

Конечно, он ни минуты не колебался, ехать ему или нет? Как же не ехать, когда там он в двух шагах от себя увидит государя!

По счастью, в прошлом году к коронации ему был сшит новый сенатский мундир, не надетый им еще до сих пор. Лидия Алексеевна в прошлом году готовилась к празднествам коронации, шила себе наряды, а сыну заказала мундир, но никуда приглашены они не были и никуда не попали, и это значительно поспособствовало окончательному присоединению обиженной Радович к старой екатерининской партии. Зато теперь Денису Ивановичу было в чем поехать на бал, и он сейчас же велел своему казачку Ваське, чтобы тот достал ему новый мундир.

Мундир был уложен в сундуке, в кладовой, ключи от которой хранились у заправлявшей всем домом экономки Василисы, до некоторой степени являвшейся всемогущим министром при Лидии Алексеевне. Она, привыкшая до сих пор получать приказания только от барыни, очень удивилась самостоятельному распоря-

жению Дениса Ивановича и велела Ваське спросить у него, зачем ему понадобился новый мундир?

Не было еще случая, чтобы Денис Иванович рассердился на кого-нибудь из слуг или возвысил голос, но тут, когда Васька передал ему слова Василисы, он вдруг крикнул:

– Пошел и вели, чтобы мне сию минуту принесли мундир!

Васька, никогда не слыхавший ничего подобного, оторопел.

– Ну, что ж ты стоишь? Пошел! – еще громче заявил Денис Иванович.

Известие, принесенное вниз Васькой, что молодой барин сердится, требуя себе мундир, произвело впечатление во всем доме, как нечто небывалое и совсем необычайное. Василиса отправилась с экстренным докладом к Лидии Алексеевне. Чувствовалось, все поняли, что молодой барин из тихого становится буйным и что он затеял с новым мундиром какую-то, очевидно, совсем безумную выходку.

Совершенно так же посмотрела на дело и сама Лидия Алексеевна и приказала позвать к себе Дениса Ивановича. Васька вторично явился к нему с пустыми руками.

– Вас барыня спрашивают! – робко доложил он Денису Ивановичу, держась за дверь и боясь ступить

лишний шаг, чтобы лучше обеспечить себе возможность, в случае чего, скорейшего бегства.

Искренний испуг, выразившийся в лице Васьки, образумил Дениса Ивановича, и он тихо сказал ему:

– Хорошо, я приду сейчас.

Денис Иванович по привычке посмотрелся, перед тем как идти вниз, в пыльное зеркало, все ли у него в порядке в одежде, взял пригласительный билет и пошел к Лидии Алексеевне.

Она сидела у себя в спальне у открытого окна в сад и раскидывала «гранпасьянс».

Эта огромная материнская спальня с ее серыми гладкими стенами, на которых без симметрии висели три почерневшие масляные картины и пожелтевшие гравюры (одна изображала притчу о блудном сыне), с ее высокою, покрытою красным штофным одеялом; постелью, где лежала груда подушек, спальня с огромным, мрачным киотом, полным старинными образами в потускневших ризах, с туалетом и бюро, похожими на средневековые постройки, и с клеткой злющего попугая, пронзительно кричавшего по временам, – всегда, с самого детства, производила на Дениса Ивановича удручающее, гнетущее впечатление. Ребенком он, входя сюда, испытывал не только привычный, отчужденный страх к самой матери, – он боялся ее одинаково всюду, – но и к самым вещам, быв-

шим тут. Ему казалось, что в сумерки туалет, бюро и киот ведут всегда между собою сердитые разговоры, смотрят и слушают, и что мать в каком-то заговоре с ними, руководит ими и единственно их любит на свете. И до сих пор он не мог отделаться, входя в спальню Лидии Алексеевны, от чувства неловкости и стеснения, обычного ему с ребяческих лет.

Денис Иванович вошел, поцеловал сунутую ему Лидией Алексеевной руку, здороваясь, потому что они не виделись с утра, и сел против нее у столика, на котором она раскладывала карты.

Лидия Алексеевна, когда призывала сына для разговора, всегда выдерживала некоторое молчание, как бы желая прежде испытать и вместе с тем показать силу своего авторитета над ним. Он должен был ждать, пока она заговорит, и отвечать на ее вопросы, а сам в рассуждения не пускаться!..

Денис Иванович сел и стал терпеливо ждать, когда мать прервет молчание.

Она не спеша клала карты, как будто всецело поглощенная раскладыванием пасьянса, и, наконец, убедившись достаточно, что сын никакой склонности к буйству и дерзости не обнаруживает, глянула на него, скривив рот в улыбку, с которой всегда глядела на него и в которой ясно выражалось насмешливое презрение к его слабости и робкой покорности.

– Вы, мой милый, требуете свой новый мундир? – спросила она вкрадчиво и совсем будто не гневно, хотя слова «мой милый» и обращение «на вы» служили несомненным признаком, что она гневается.

– Да, маменька, – ответил Денис.

– А зачем он вам вдруг понадобился?

– Чтобы ехать на бал во дворец.

– Во дворец? Да кто же вас туда пустит?

– Мне прислали билет, маменька...

– Кто? – Лидия Алексеевна взяла билет, который он протянул ей, и подробно осмотрела, как меняла осматривает кредитную бумажку, – не фальшивая ли. – Кто же прислал этот билет? – снова спросила она.

– Не знаю, маменька.

– Как же ты не знаешь? Что за вздор такой! Мать игнорируют, а сыну вдруг билет присылают! Тут что-нибудь да не так! Кому ж нужно восстанавливать так мать против сына? Ты сам себе достал этот билет? Изволь сказать сейчас, через кого?

– Да уверяю вас, маменька, и не думал. Прихожу сегодня и застаю конверт. Он из сената прислан, и больше ничего не знаю...

– И хочешь все-таки ехать?

– Хочу.

– Ну и дурак! Собственного достоинства в тебе нет!

Твою мать знать не хотят, а ты, на вот, только свистнули, ты уж и рад! – и Лидия Алексеевна снова принялась за карты, словно считая разговор исчерпанным и дело вполне решенным.

– Так вы прикажите мне мундир принести; надо, чтобы он отвиселся, да и почистить не мешает, – проговорил неожиданно для нее и главное сам для себя Денис Иванович и встал.

Она, пораженная, подняла голову и воскликнула:

– Вы, кажется, рассуждать начинаете?

– Я говорю только, чтобы мне мундир принесли...

– Да как ты смеешь, щенок, отдавать мне приказания! – крикнула Лидия Алексеевна и стукнула по столу так, что карты посыпались на пол. – Ты бунтовать против матери, нет, скажи, ты бунтовать?

– Я, маменька, никогда не выходил из вашей воли, – сказал Денис Иванович, – но тут дело идет... тут дело идет о государе, – выговорил он.

И впервые по его тону послышалось, что он – не только сын своего робкого и слабого отца, но и ее, строптивой, упрямой и властной Лидии Алексеевны. Впервые почувствовалось, что если он до сих пор, до тридцати четырех лет, подчинялся ей, то потому лишь, что сам хотел этого, и потому, что до сих пор не было серьезной причины поступать ему иначе; но вот, когда дело коснулось государя, – он постоит за себя.



Для Лидии Алексеевны важны были не слова, которые он произнес, но то, как теперь смотрел он на нее, выдерживая ее строгий, упорный взгляд, которым она, как думала прежде, уничтожала его. Между ними точно перебегала искра от нее к нему и от него к ней и снова к нему и к ней.

Денис Иванович не опускал взгляда до тех пор, пока не потухла эта искра, и потухла в глазах не его, а матери. Тогда он повернулся и ушел.

Ему принесли сейчас же мундир.

Денис Иванович стал готовиться к вечеру, искренне не подозревая, что между ним и матерью произошло что-то необыкновенное, из ряда вон выходящее, такое, что не может не иметь последствий значительных, в особенности для нее. Он был доволен данной минутой, доволен тем, что поедет сегодня вечером на бал и увидит государя. Больше ни о чем не думал он и, осмотрев мундир и найдя его в отличном состоянии, распорядился, чтобы Васька сбегал ему за извозчиком и нанял того на вечер.

— Да номер не забудь взять у извозчика, а то он не приедет, — заботливо приказал он, точно все зависело теперь от того, приедет извозчик или нет.

Мыться и бриться Денис Иванович принялся спозаранку. Обед ему подали в его комнату. Однако это часто бывало и прежде, и потому он не заметил в этом

ничего особенного.

По мере того как время приближалось к вечеру, оно тянулось все медленнее и медленнее. Денис Иванович был уже совсем готов, ему только оставалось надеть расправленный и вычищенный, висевший на спинке стула мундир, а до бала было почти два часа. Пробовал он читать, но буквы прыгали у него перед глазами, и он ничего не понимал. Он вышел на вышку и в одной рубашке стал ходить, хотя день был холоднее, чем вчера. Он беспрестанно поглядывал на часы и ему хотелось передвинуть стрелки, хоть он и знал, что это не поможет.

## VII

Новые слежавшиеся башмаки жали, и мундир был тесен Денису Ивановичу, слегка потолстевшему с прошлого года, но именно это соответствовало той особенной обстановке бала, в которой он очутился и чувствовал, что здесь все должно быть не так, как всегда, и неудобно приехать сюда в слишком простом, повседневном покойном, как халат, платье. Так что и жавшие башмаки, и тесный мундир были кстати и ничуть не мешали, а, напротив, способствовали торжественному настроению Радовича.

Блестящие залы, огни, вытянувшиеся на лестнице лакеи в пудре и в красных кафтанах с позументами, наряды дам, мундиры мужчин, музыка, гремевшая, притомляя слух, бриллианты, кружева – все слилось для Дениса Ивановича, давно не бывавшего вообще на вечерах и попавшего в первый раз на придворный бал. Он был ослеплен, поражен, не мог еще ничего видеть в отдельности, кроме государя, которого видел все время, где бы ни пришлось ему быть.

И ощущение, которое он испытывал, не могло сравниться ни с чем, даже с теми грезами, которые, как в золотистом тумане, переносили его, бывало, когда слушал он сказки, ключницы Василисы, то в волшеб-

ные чертоги построенных в одну ночь очарованных замков, то на дно моря, в коралловые пещеры или в золотые палаты заоблачных царств. Он не ходил, не двигался, но торжественно носил свое тело, словно оно, стесненное мундиром, плыло само собой по воздуху, а там, где-то далеко внизу, какие-то башмаки жали чьи-то ноги.

Среди гостей у него, наверное, было много знакомых, потому что тут была вся Москва, а он знал всю Москву, но узнавать он никого не узнавал, хотя кланялся и что-то отвечал, и говорил, когда его окликали. Ему казалось святотатственным, неприличным быть обыкновенным знакомым обыкновенных людей здесь, во дворце государя, и в присутствии государя. Он не сводил глаз – впрочем, как и все остальные, с Павла Петровича и видел его, как видишь солнце, даже когда не смотришь на него.

Государь был в духе, и лицо его, оживленное, с блестящими умными и пронизательными глазами, казалось Радовичу выражением истинной прелести величия. Оно было такое, то есть еще лучше такого, каким он воображал себе его, и вовсе не похоже на портреты, претендовавшие передать черты императора Павла.

– Прекрасно! – сказал Денису Ивановичу попавшийся ему генерал-поручик Вавилов и кивнул голо-

вою.

Радович отвесил поклон, однако не разобрал, кто это, но все же сейчас же полюбил говорившего, сочувствуя его слову.

«Прекрасно, истинно прекрасно!» – говорило и пело все в душе Дениса Ивановича.

В антракте между танцами государь стоял в конце зала, и все лица были обращены к нему.

Радович теперь только, насмотревшись вдоволь на государя, стал присматриваться к окружающим его. Он узнал толстого, курносого, обрюзгшего Безбородко, узнал несколько московских сенаторов, главнокомандующего Салтыкова, увидел еще нескольких, очевидно петербургских, придворных.

Вдруг его глаза остановились на стоявшей в первом ряду образовавшегося около государя круга молодой девушке.

Увидев ее, Денис Иванович так и остался, как был, с раскрытым ртом. Такой красавицы он и представить не мог себе никогда. Она сразу была заметна среди других и по красоте своей, и по собственному цвету черных, впадавших в синеву, густых волос своих.

А сзади нее, немножко в отдалении, высовывалась сухая, длинная фигура сенатора Дрейера.

Радович взглянул на сенатора, узнал его, вспомнил сегодняшнее утро и в эту минуту заметил, что Дрейер

тоже увидел и узнал его.

Государь, продолжая разговаривать с Безбородко, улыбаясь, причем блестяли его белые, ровные зубы, и потряхивая пудреной косинкой, двинулся вперед, и сейчас же толпа расступилась пред ним, а стоявшие возле него двинулись тоже.

Красавица в белом платье с черными волосами стала подвигаться вместе с другими.

Радович, к удивлению своему, увидел, что окружавшие государя отступают так, что между ним и красавицей остается пустое пространство, как бы соединяющее их. Государь будто слегка нахмурился и сделал несколько более поспешных шагов, толпа отхлынула в сторону, и Радович очутился в первом ряду с государем.

Пустое пространство между ним и красавицей не изменилось. Она стояла, опустив тонкие, оголенные девственные руки, и смотрела на Павла Петровича так же, как смотрели на него все, то есть не спуская глаз.

Государь кивнул в ее сторону и спросил у Безбородко:

– Это, кажется, – дочь Петра Лопухина?

– Она, Ваше Величество, из-за вас просто голову потеряла! – ответил Безбородко, странно улыбаясь и изогнувшись...

– Вот ребенок! – сказал, рассмеявшись, государь.

– Ей уже скоро шестнадцать лет, – проговорил Безбородко.

Это была неправда – Анне Лопухиной шел уже двадцать второй год.

Этот разговор слышал стоявший почти рядом Радович, слышали и другие.

Государь прошел дальше и так скоро, что замкнувшаяся за ним толпа отделила от него Дениса Ивановича и Лопухину, приблизившуюся теперь к Радовичу.

Сенатор Дрейер между тем направился прямо на Дениса Ивановича. Он шел на него, пробираясь через толпу, и сердито кивал ему головою, видимо, подзывая его к себе и сердясь, что тот не замечает или не понимает этого. Он почти в упор подошел к Денису Ивановичу, и тогда только тот, вздрогнув, увидел, что находится в его власти, потому что скрыться не представляется уже возможности.

«Неужели он станет делать мне выговор здесь?» – чувствуя, если это так, стыд за сенатора, подумал Радович.

Но Дрейер, подойдя к нему, схватил его за рукав двумя свободными пальцами (остальными он держал треугольную шляпу), и схватил так, что больно ущипнул, и потянул за собою.

– Я вас вынужден представить госпоже Екатерине

Николаевне Лопухиной, – проговорил он отрывисто и ворчливо, таща уже Дениса Ивановича, подтащил его к стоявшей возле красавицы видной барыне и представил.

– Вы – сын Лидия Алексеевны Радович? – спросила Лопухина, оглядывая Дениса Ивановича.

– Да, я – сын... – краснея ответил он, не зная, то ли говорит, что нужно, или нет.

– Я рада с вами познакомиться. Заезжайте завтра ко мне... так, после часа, до двух...

– У меня, к сожалению, служба в сенате, – начал было Денис Иванович, но педантичный, строгий служака Дрейер так заворочал на него глазами, желая остановить его, что Радович оборвал фразу и замолк.

– Так завтра, между часом и двумя! – повелительно произнесла Лопухина и отвернулась, показывая, что представление кончилось и что Радович может отойти.

В ее манере было странное соединение какой-то ласковости и вместе с тем величественной привычки, что все будет именно так, как она хочет.

«Вот эта умеет приказывать», – подумал Денис Иванович, невольно сравнивая ее со своей матерью.

Но он тут же решил, что ехать ему завтра к Лопухиной в служебный час совершенно незачем. Он решительно не понимал, зачем он понадобился ей и, глав-



ное, зачем понадобилось Дрейеру вместо выговора за сегодняшние пряники представлять его Лопухиной. Как это случилось и почему, он не знал.

Не знал этого и сам сенатор Дрейер. Он явился сегодня на бал, усматривая в этом свою служебную обязанность как сенатора. На балах он никогда не бывал – у него и без того не хватало времени. К воцарению императора Павла Петровича в сенате было десять тысяч нерешенных дел. Это доказывало, во-первых, очевидность того, что не все сенаторы относились к службе, как сенатор Дрейер, а, во-вторых, что если он, Дрейер, задался целью решить все десять тысяч дел, то немудрено, что у него не было времени не только ездить на балы, но даже и ходить в баню, а то и спать. Придворный же бал в присутствии государя был другое дело. Тут сенаторы обязаны были, по мнению Дрейера, увеличивать блеск двора, и потому он явился сюда в своем красном мундире с треугольной шляпой, хотя едва ли его сухая длинная фигура могла кому-нибудь показаться блестящей.

Явившись на бал, он первое время ходил, жмурясь и не зная, куда ему приткнуться и что с собою делать. Весь этот люд, шум, говор и музыка, в сущности, «мешали занятиям», но тут именно о занятиях и речи не могло быть. Если бы ему дали полную волю, сенатор Дрейер немедленно водворил бы на балу тишину

и порядок и приступил бы к занятиям. Однако здесь приступали не к занятием, а к танцам, и, противно самой природе, молодые люди, танцуя, вели себя крайне развязно пред такими особами, как, например, сенаторы.

Дрейер попробовал было изложить свой взгляд на этот предмет своему товарищу по сенату, сенатору же Лопухину, но того Безбородко держал при себе, следовательно, вблизи государя, и Дрейера оттуда оттерли. Тогда он, наткнувшись на Лопухину с падчерицей, «присосался» к ним и уже не отходил, потому что издам только и был знаком, что с женами своих сослуживцев...

Стоя за Лопухиной, он вдруг встретился глазами с коллежским секретарем Радовичем и довольно громко произнес:

– Ага!..

Лопухина обернулась на него и увидела, что лицо сенатора Дрейера настолько вдруг оживилось, что она невольно спросила:

– Что с вами?

Дрейер оживился потому, что наконец нашел более или менее разумное применение своему пребыванию на балу. Он мог вместо того, чтобы завтра, отрываясь от служебных занятий, делать выговор коллежскому секретарю за его предосудительное «в отноше-

нии пряников» поведение, объяснить ему даже более подробно сегодня, сколь печален его проступок и насколько нетерпимы такие поступки со стороны служащих по канцелярии Правительствующего сената.

– Ничего... Так, служебное дело, – ответил он Лопухиной.

– У вас даже на балу служебные дела?

– Как видите, сударыня!..

Сенатор Дрейер, разговаривая с дамами, всегда прибавлял «сударыня», считая это переводом французского «madame».

– Какое же дело? – спросила опять Лопухина. – Важное?

– Для меня все важно, что касается службы, – пояснил Дрейер, – а тут я вижу молодого человека...

– Какого молодого человека?

– Коллежского секретаря Радовича.

– Радовича? Что ж он?

– Он сегодня утром был замечен мною в уличной толпе за весьма странным занятием: он совместно с мальчишками занимался ломанием пряников.

– Да неужели? – словно обрадовалась Лопухина и добавила вполголоса. – Положительно это – тот человек, который мне нужен!

– Что вы говорите? – переспросил Дрейер.

– Я говорю, что это очень мило...

– Как мило, сударыня?

– Где он? Покажите мне его.

Дрейер показал.

– Да, он по виду очень презентабелен, – решила Лопухина. – Отлично! Представьте мне его сейчас...

Ослушаться Екатерины Николаевны Лопухиной Дрейер прямо-таки не осмелился и вместо выговора должен был привести Радовича и представить его.

– Что женщина хочет, то и мы должны хотеть! – сказал он только Екатерине Николаевне, воображая себя историческим лицом, произносящим историческое изречение.

## VIII

На другой день после бала во дворце Лидия Алексеевна ходила по длинной анфиладе комнат своего большого дома, заложив руки назад и пристально смотря себе под ноги. На лице у нее появились желтые пятна. Она в одну ночь осунулась и похудела.

Сыну, если он будет спрашивать о ней, она велела сказать, что нездорова, и чтобы он не показывался к ней. Он уехал сегодня, как обыкновенно, в сенат на службу в шесть часов утра, затем вернулся днем к часу, переделся в новый мундир и немедленно уехал опять. Все это было доложено Лидий Алексеевне через Василису.

В доме было, конечно, известно, что произошло вчера между матерью и сыном. Это составило событие дня, затмившее собою все остальное, и обсуждалось на все лады от девичьей до черной кухни и курчской включительно. Дворянка знала, что барыня – «ужасть сердита», что на лице у нее явились зловещие желтые пятна и что она ходит по комнатам, заложив руки за спину.

Хождение по комнатам часто нападало на Лидию Алексеевну; она по временам проводила целые дни в этом занятии, и к ней никто не смел подступить, но

желтые пятна появлялись сравнительно редко и служили признаком особенного гнева, никогда не проходившего для дворни даром. Все притихли, старались ходить по струнке и, главное, не попадаться на глаза барыне. Один казачок Дениса Ивановича Васька, жирно припомадив волосы маслом, которое стащил на господской кухне, ходил гоголем. Впрочем, это могло происходить оттого, что к нему вдруг даже сама Василиса стала относиться ласковее. Лакеи сидели на своих местах в официантской и на лестнице. Дворецкий, важный бритый старик, вертелся тут же, с утра одетый в свою ливрею.

Лакей Степка, откликнувшийся на это имя, хотя ему уже шел пятый десяток, и выездной Адриан затеяли было в вестибюле игру в шашки, но дворецкий так на них цыкнул, что они сейчас же спрятали доску. Адриан стал делать вид, что стирает пыль, а Степка уткнулся в окно.

– Слышь, – заявил Степка, глядя в окно, – к нам карета въезжает Курослеповой барыни. Как же быть? Докладывать аль прямо не принять?

Дворецкий подумал, взвесил все обстоятельства и рассудил:

– Если приказу о том, чтобы не принимать, не было, так поди, доложи.

– Яков Михеевич, – взмолился Степка, – мочи моей

нет. Ведь ежели, как последний раз, так я не выдержу, руки на себя наложу...

– А ты поговори вот у меня!

Карета в это время подъехала к крыльцу, и лакей Курослеповой, соскочив с козел, вбежал, хлопнув дверью.

– Тише! – остановил его дворецкий.

– Принимаете? – весело спросил здоровый, жизнерадостный слуга Марьи Львовны.

– Сама, что ли? – проворчал дворецкий.

– Сама.

– Поди, доложи – Марья Львовна Курослепова. – Приказал дворецкий Степке.

– Яков Михеевич, пошлите Адриана, – проговорил тот.

– Я вот тебя к Зиновию Якличу пошлю!.. – прошипел ему Яков Михеевич.

Степка побелел, тяжело вздохнул и побежал докладывать.

Жизнерадостный курослеповский лакей, слегка ухмыльнувшись, наблюдал за тем, что происходило, как человек, находящийся во время грозы под верной защитой, наблюдает застигнутых непогодой прохожих.

Прошло несколько минут ожидания, и на лестнице показался бежавший на цыпочках Степка.

– Приказали просить! – задыхаясь, проговорил он и

несколько раз перекрестился, не скрывая своего благополучия, что все обошлось, как следует.

Дворецкий Яков Михеевич знал, что делал, хотя в этом помогал ему не столько разум, сколько инстинкт натасканной на господской службе собаки. Лидии Алексеевне нужно было видеть сегодня, чтобы навести справки и разъяснить дело, как можно больше народа, и если б Марья Львовна не заехала, она сама отправилась бы к ней, потому что одна Марья Львовна могла заменить в данном случае многих.

Марья Львовна вошла к хозяйке дома и первым делом ахнула:

– Матушка моя, да что с вами? На вас лица сегодня нету!

– Не сладко, видно, живется, – процедила сквозь зубы Радович, усаживая гостью в большой парадной гостиной, в которой та застала ее.

– Да что такое? Что случилось? – стала опрашивать Курослепова, хлопотливо возясь с ридикюлем, где у нее было сложено никогда не покидавшее ее вязанье.

– Впрочем, ничего особенного, так, – сказала Лидия Алексеевна, стараясь проявить терпение и быть любезной, – не можется!

Она знала, что нужно лишь подождать, и Марья Львовна без расспросов сама расскажет все, что знает.



– Ну, полноте! – протянула Курослепова. – Посмотрите, день-то какой! У меня сегодня девка Малашка прибегает со двора и так это ухмыляется. Я ее спрашиваю: «Что ты?» – а она говорит: «Да ничего, барыня, солнце хорошо светит?» Мне это очень понравилось... Ну, Лидия Алексеевна, бал вчерашний, я вам скажу!.. По правде сказать, роскошь огромная, но вкуса мало. Впрочем, я другого и не ожидала... Приезжаю я вчера...

И она стала подробно описывать дворец и всех бывших на балу, стараясь быть ядовитой и насмешливой, но все-таки, видимо, не без удовольствия переживая в рассказе свои впечатления. Она все видела, всех заметила, обо всем спешила передать, и по тону ее видно было, что самое интересное она приберегает к концу.

Лидия Алексеевна не перебивала ее и слушала терпеливо, тем более что по приезде Марьи Львовны на другой же день после бала и по ее словоохотливости поняла, что та явилась неспроста.

– Представьте себе, – рассказывала Марья Львовна, переходя, наконец, к «интересному», – Лопухина вела себя до откровенности неприлично. Она ходила за государем, не отставая, и мачеха раздела ее... совсем оголила. Стыдно глядеть было... Лопухин получает назначение в Петербург, и он переезжают туда.

Это решено уже. Вот вам главная новость, хотя, впрочем, не новая, а старая. Так и ждала, что это будет, но теперь в этом уже сомневаться нельзя... Поздравляю. Надо, однако, отдать справедливость: и красива же она...

Марья Львовна, говоря это, не подозревала, что делает гнусность, распространяя скверную клевету, родившуюся из недостойной сплетни, которую, правда, желали воспользоваться люди, не брезгующие ничем для достижения своих целей.

Вот что было на самом деле.

Когда в предыдущем году император Павел Петрович приехал в Москву для коронавания, ему в числе прочих сенаторов представлялся и Петр Васильевич Лопухин, муж Екатерины Николаевны и отец красавицы Анны. На этом общем представлении государь расспрашивал каждого о его прошедшей службе и, узнав, что Лопухин был прежде наместником в Ярославле, приказал ему не уезжать из дворца. Когда же представление кончилось, император, получивший в тот день прошение по делу, разбирававшемуся в Ярославле, передал это прошение Лопухину и велел ему сделать затем личный доклад по этому делу, Лопухин прямо из дворца отправился в сенат, навел нужные справки, сообразил со своими собственными воспоминаниями и, проработав всю ночь, успел на следую-

щий день явиться в шесть часов утра во дворец с готовым докладом. Павел Петрович остался в восторге и от быстрого исполнения своей воли, и от самого доклада. Он стал поручать Лопухину во время пребывания своего в Москве другие дела, и каждый раз Лопухин с тою же полнотою и аккуратностью представлял ему наутро требуемую работу. В изъявление своего удовольствия император пожаловал дочь Лопухина, Анну Петровну, в фрейлины.

Это назначение последовало, когда Павел Петрович не имел случая видеть Анну Петровну. Однако этого было достаточно, чтобы создалась сплетня, совершенно ложная и гнусная, хотя и вполне соответствовавшая распущенным нравам того времени.

Эту сплетню стала поддерживать недомолвками и намеками сама Екатерина Николаевна Лопухина, мачеха Анны, женщина, о которой даже родной сын впоследствии никогда не говорил, потому что дурного говорить он не хотел про мать, а хорошего ничего не мог сказать про нее.

Мало-помалу с Екатериной Николаевной случилось то же, что со лживым муллой, рассказывавшим всем у городских ворот заведомую ложь, что на площади раздают плов, и пошедшего за народом, когда тот повалил на площадь за пловом: Лопухина поверила в выдумку, которую сама же распространяла.

Ко второму приезду императора Павла в Москву создан уже целый план, как устранить от государя так называемую «партию императрицы» Марии Феодоровны, то есть вполне безупречную, бывшую только в истинно дружеских отношениях с самой государыней фрейлину Нелидову и братьев Куракиных, беспристрастие, честность и правдивость которых мешали многим.

Главными руководителями плана были Безбородко и бывшая его любовница Екатерина Николаевна Лопухина, а исполнителем должен был явиться Иван Павлович Кутайсов, пожалованный при воцарении Павла из его камердинеров в гардеробмейстеры.

Кутайсов, ввиду последовавшей тогда щедрой раздачи орденов и имений, остался недоволен и вздумал просить еще орден Св. Анны второго класса. Павел I не на шутку разгневался, прогнал его, а затем, выйдя к императрице, у которой застал Нелидову, объявил им, что Кутайсов уволен за свое бесстыдство. Старания Марии Феодоровны успокоить своего супруга были напрасны. Только после обеда Нелидовой удалось испросить прощение Кутайсову. Последний в порыве благодарности бросился к ногам императрицы, но год спустя великодушным его заступницам пришлось ознакомиться с мерою признательности гардеробмейстера.

Средством для исполнения плана должна была служить красавица Анна Петровна. Ее мнения мачеха не спрашивала и о ней самой не заботилась.

На балу государь спросил у Безбородко про Лопухину, тот сказал свое слово, принятое Павлом Петровичем за лесть в форме шутки; начало делу, как думали, было положено, и на другой же день Марья Львовна и подобные ей разносили якобы достоверную весть.

– А ваш-то сокол, – продолжала рассказывать Марья Львовна Радович, – как же! Видела его! Возле самой Екатерины Николаевны увивался...

– Какой сокол? – переспросила Лидия Алексеевна.

– Да сынок ваш, Денис Иванович.

– Он, вы говорите, увивался за Лопухиной?

– Сама видела.

– Вот как!..

– Да! – кивнув головой, протянула Марья Львовна и застучала спицами.

Весь ее запас был выложен, и теперь она в торжествующем молчании смотрела, какое впечатление произвела на Радович.

– Марья Львовна, – вдруг деловито заговорила та, – я все забываю спросить у вас: теперь у вас, наверно, много расходов с этими выездами по балам... может быть, вам деньги нужны? Я могу ссудить, если хотите.

В этом предложении не было ничего ни нового, ни странного. Марья Львовна хотя имела недурное состояние, но благодаря тому, что вечно помогала всем, лезшим ей в родню, часто сидела без денег и брала займы у Лидии Алексеевны. Она всегда аккуратно рассчитывалась, но до сих пор ей приходилось самой обращаться к Радович и просить, что не всегда бывало приятно, сама же Лидия Алексеевна в первый раз предложила ей денег.

Марья Львовна просияла.

– Лидия Алексеевна, голубушка! Признаюсь, я к вам и приехала сегодня насчет денег, но спросить не решалась! Может, вы сами не располагаете?

– Ничего, располагаю.

– Ведь я вам должна еще.

– Пустяки! Сосчитаемся!.. Сколько вам нужно?

– Да рублей двести.

– Хорошо. Заезжайте послезавтра, деньги готовы будут. Но только вот что: услуга за услугу... Узнайте мне, пожалуйста, каким образом сын мой получил вчера приглашенный билет на бал. Мне это интересно, потому что он сам не знает. Вдруг ему вчера принесли билет, а каким образом – нам неизвестно...

– Ну, что ж, это – дело нетрудное, – сказала Марья Львовна, – я с удовольствием...

Узнать о чем угодно ей действительно не было

трудно, благодаря тому, что в ее распоряжении находился целый полк племянников и родственников, сношавших всюду и повсюду бывавших.

«А врут все про нее, будто она нехорошая, – думала Марья Львовна, глядя на Радович. – На самом деле она очень милая. Ведь вот денег сама предложила...».

Курослепова по своему добродушию не поняла, что, в сущности, Лидия Алексеевна заключила с ней маленький торг и что она дает ей деньги взаймы за нужные ей сведения. Правда, она не могла знать, насколько эти сведения нужны были и важны для Радович.

Расстались они на том, что Марья Львовна узнает все к завтрашнему дню и приедет, а Лидия Алексеевна приготовит двести рублей...

Проводив гостью, Радович снова заходила по комнатам. Она дошла до своей спальни, повернулась и снова шаг за шагом проследовала до гостиной. Тут она взялась за тесьму звонка, спускавшуюся широкой полосой по стене от потолка, и дернула.

Не успела она сделать поворот и ступить несколько шагов, как бледный Степка показался в дверях.

– Денис Иванович вернулись?

– Вернулись, – ответил Степка, – к себе наверх прошли.

Он говорил, а сам творил молитву, чтобы разговор с барыней прошел благополучно.

– Послать ко мне Якова да доложить Зиновию Яковлевичу, что я прошу их ко мне.

Сорокапятилетний Степка исчез быстрее, чем явился.

Лидия Алексеевна перешла в зал и остановилась у окна, глядя в сад. Дворецкий вошел.

– Изволили спрашивать? – довольно смело проговорил он, прежде чем она обернулась к нему.

– Денис Иванович приехал?

– Приехали.

– Со своим кучером ездили?

– С Митрофаном.

– Где были?

– У Лопухиных. Часа два там пробыли и вернулись прямо домой, – без запинки доложил дворецкий, успевший уже собрать эти сведения, заранее зная, что они потребуются барыне.

– У Лопухиных? – вырвалось у Лидии Алексеевны, и она круто повернулась к дворецкому, глянув на него во все глаза.

Он спокойно стоял перед ней.

Радович как будто опомнилась и тут только поняла, что дворецкому никак не может быть известно, почему вдруг Денис Иванович, никуда, кроме сената, не



ездивший, отправился к Лопухиным и просидел у них два часа?

– Я просила к себе Зиновия Яковлевича; скажите им, что я у себя буду! – и Лидия Алексеевна направилась к себе в спальню, села у своего столика, опустила голову, сжала руки и задумалась.

Зиновий Яковлевич Корницкий был управляющий, заведовавший ее делами уже тридцать шесть лет, с тех самых пор, как она с мужем переехала из Петербурга в имение. Поступил он к Радович двадцатилетним, красивым молодым человеком. Статный, видный, ловкий, дворянин по крови (отдаленного польского происхождения), он не был простым управляющим: почти сразу занял он при Лидии Алексеевне место, гораздо более близкое, и сумел удержаться на нем. Он числился на государственной службе по благотворительным учреждениям, куда за него Лидия Алексеевна вносила иногда очень крупные пожертвования, и получал за это чины и ордена.

Он вошел в спальню Лидии Алексеевны не торопясь и вразвалку, прямо неся свое стройное, холеное тело и высоко закинув гордую голову в пудреном парике с косичкой, с покатым прямым лбом, римским носом и бритым подбородком. Его видная фигура, особенно осанистая от той равномерно-распределенной полноты, какая может быть у пятидесятишестилетне-

го не стареющего мужчины, красиво обрисовывалась ловко сшитой на старый екатерининский лад одеждой. На нем были белый атласный камзол, кружевное жабо и манжеты, шелковое лиловое исподнее платье, шелковые лиловые же чулки, лаковые башмаки с бронзовыми фигурными пряжками и поверх камзола что-то вроде короткого лилового бархатного шлафрока с широкими, закидными, как у священников, рукавами на белой атласной подкладке.

Он вошел, поздоровался с Лидией Алексеевной, сел против нее в кресло, раскинувшись в нем, и положил ногу на ногу. Сразу в этой уверенной, покойной позе он стал похож на известный портрет начальника благотворительных учреждений при Екатерине, Ивана Ивановича Бецкого, при котором служил и которому, видимо, подражал.

– Я очень взволнована, – начала Лидия Алексеевна.

Зиновий Яковлевич внимательно рассматривал бриллианты колец, передвигая их на своих тонких пальцах.

– Что случилось? – спросил он.

– Да Денис меня беспокоит...

– Ах, это! – небрежно уронил Корницкий и опять занялся кольцами.

Он произнес эти слова с таким выражением, как

будто хотел сказать: «Я уже знаю обо всем, но, право, все это не важно и беспокоиться тут нечего».

– Да ты, верно, не знаешь всего, – стала возражать Лидия Алексеевна, – ведь он со мной так говорил вчера, как никогда не осмеливался; вчера на балу за Лопухиной Екатериной увивался, а сегодня поехал к ней и сидел два часа...

– Все это я знаю, – по-прежнему спокойно протянул Зиновий Яковлевич.

– Я думаю, тут начались чьи-нибудь шашни против меня. Сам он едва ли осмелился бы, – сказала Лидия Алексеевна. – Теперь опять этот билет на бал. Через кого Денис получил его? Я просила Марью Львовну Курослепову разузнать...

– Хорошо, – одобрил Корницкий.

– Ведь он тих, тих, а вдруг прорвется и погонит меня из дома... Каково это будет мне, матери?

– Всё может случиться, – согласился Зиновий Яковлевич... – Что ж, по закону он имеет полное право! Все состояние принадлежит ему.

Вместо того чтобы утешить, Корницкий, словно нарочно, еще больше раззадоривал Лидию Алексеевну.

– Право, право! – раздраженно заговорила она. – Главный закон тот, что сын должен слушаться матери; это – божеский закон, а все остальные люди выдумали...

– Они же и применяют их!.. И если Денис Иванович захочет...

– Так и вправду выгонит меня?! – подхватила, сверкнув глазами, Лидия Алексеевна.

– И вас, и меня, и всех, кого захочет, – подтвердил Зиновий Яковлевич. – Мне уж он объявил три месяца тому назад открытую войну... Вы не обратили на это внимания?

Действительно, три месяца тому назад Денис Иванович перестал вдруг разговаривать с Корницким и начал избегать его.

– Я думала, что это – просто обыкновенная его блажь, что это он так, сам от себя, – стала оправдываться Радович, – а теперь вижу, что кто-то занялся им. Надо принять меры, и я их приму...

– Что ж вы сделаете?

– Найду, не знаю!.. Нельзя же допустить, чтобы дети шли против родителей! В крайнем случае я сама к государю поеду.

– Государь, разумеется, все может, – вставил Зиновий Яковлевич.

– И поеду, – повторила Лидия Алексеевна, все более и более раздражаясь. – Государь сам был, говорят, примерным сыном, он должен понять и образумить мальчишку... Если это – штуки Екатерины Лопухиной, – посмотрим еще, кто кого... Посмотрим!..

Лидия Алексеевна встала и заходила по комнате. Мысль обратиться к самому государю и просить у него управы на строптивного, каким теперь представляла себе Радович сына, пришла ей в голову еще сегодня с утра, и с утра она носилась с нею.

– Вот еще что, – обратилась она к Корницкому. – Приготовь к послезавтрашнему дню двести рублей. Марья Львовна займы просит.

– Слушаю! – сказал он.

– Да еще убери ты от меня эту глупую рожу, Степку; видеть его не могу! Препоганый! Какой он лакей? отошли его в деревню, пусть там огороды копает...

Зиновий Яковлевич и на это сказал только:

– Слушаю!..

## IX

Денис Иванович, вчера еще на балу решивший, что ехать к Лопухиной ему сегодня незачем, отправился, как обыкновенно, в сенат и занялся там делами. Однако около часа, в обед, сенатор Дрейер призвал его к себе, и довольно вскользь упомянув о пряниках, так, больше для порядка, очень серьезно спросил, не забыл ли коллежский секретарь Радович, что Екатерина Николаевна Лопухина приказала ему явиться сегодня к себе! Вышло так, что Дрейер прибывал к себе Дениса Ивановича не столько по делу о пряниках, сколько для того, чтобы напомнить ему о визите к Лопухиной. Это равнялось уже почти приказанию по службе, и Денис Иванович увидел, что – хочешь не хочешь – ехать нужно.

Екатерина Николаевна с падчерицей вернулась с парада, произведенного Павлом Петровичем московским войскам, и только что пообедали, когда приехал к ним Денис Иванович. Он застал у Лопухиных Оплакнину с племянницей. Сам Лопухин был в сенате.

Радович, в сущности, так и не понял, зачем призвала его к себе Екатерина Николаевна, хотя провел у нее два часа. Она была очень рассеянна и как будто даже взволнована, но встретила Дениса Ивановича

ча очень любезно, однако в разговоры с ним не вступала, а сказала, чтобы он шел с барышнями в сад.

Радович решил, что ей, вероятно, теперь некогда, а потом она призовет его и поговорит, по-видимому, по какому-нибудь делу, потому что, с какой стати ей было иначе звать его так к себе? Он пошел с барышнями, то есть с красавицей Анной и Валерией, племянницей Оплаксиной, в сад, и там они стали играть в бильбоке, потом в серсо. Сначала Денис Иванович играл только, чтобы доставить барышням удовольствие, и все ждал, что его позовет сейчас Екатерина Николаевна, но вскоре увлекся игрой и забыл об этом.

Анна играла довольно невнимательно, Валерия же, напротив, – с большим удовольствием и такою горячностью, какую трудно было ожидать от нее, обыкновенно безучастно вперявшей взор в небо. Тут откуда взялись у нее развязность, грация и даже смех.

Она, по-видимому, так искренне принимала к сердцу удачу и неудачу, что Денису Ивановичу было приятно подавать именно ей кольцо серсо, а не Анне. Последняя к тому же смущала его своею величественною, холодною красотою. Да и знал он ее гораздо меньше Валерии, которая с теткой бывала у них. Только никогда Денис Иванович не замечал у Валерии живости, какая явилась у нее вдруг теперь. Правда, до сих пор он видал ее исключительно в обществе

тетки и старших.

Из сада перешли в большой прохладный зал и тут стали играть на китайском бильярде. Денис Иванович и этим делом занялся с воодушевлением, почти ребяческим. Играл он очень плохо, но так весело смеялся своим неудачам, что увлек своею веселостью даже неприступную Анну.

Наконец в дверях зала показалась с Лопухиной Оплакзина, собиравшаяся уезжать.

– Да, да, далеко Петру до Куликова поля! – рассудительно говорила Анна Петровна, заканчивая разговор и прощаясь.

У ее племянницы сейчас же потухло оживление, и она, тоже прощаясь, низко присела пред Екатериной Николаевной.

Лопухина, простившись с Оплаксиными, простилась и с Денисом Ивановичем, сказав ему, чтобы он завтра тоже приезжал. Значит, оставаться дольше ему было нечего, и он ушел в полном недоумении. Выходило, что он был у Лопухиных лишь ради того, чтобы играть с барышнями в бильбокэ, серсо и на китайском бильярде.

Однако хотя это могло показаться очень глупо, но Денис Иванович не жалел потерянного времени. Он провел его очень недурно и был доволен, и вместе с тем удивлялся, как он не замечал прежде, какова на



самом деле племянница Оплаксиной.

«Вот тебе и “старое диво”!» – думал он, вспоминая, как ловила она кольца и как смеялась, когда его шарик не попадал на большую цифру в бильярде.

Вернувшись домой, он переоделся, сам вычистил свой мундир, повесил его в шкаф и сел у растворенной двери на свою вышку с книгой в руках. И, чем дольше сидел он, тем сильнее охватывало его чувство никогда не испытанного им до сих пор довольства и наслаждения жизнью. Он читал и не вдумывался, и сейчас же забывал прочитанное, и был далеко от дома, от отношений к матери, к Зиновию Яковлевичу и ко всему, что обыкновенно не давало ему покоя и точило его постоянно и неотступно. И вместе с тем он не грезил, не думал ни о чем, не заставлял насильно работать свое воображение, чтобы забыться и отрешиться от окружавшей его действительности.

На лестнице к нему наверх послышались шаги, чьи-то чужие. Это не Васька шел. Денис Иванович очнулся, встал и обернулся к двери.

В дверях показался лакей Степка и повалился ему в ноги.

– Что ты, что с тобой? – испугался Денис Иванович.

– Барин, батюшка, заступитесь вы за меня! – завопил Степка громким голосом.

– Да полно, встань, встань ты! Встань и расскажи

толком! – повторил Денис Иванович, силясь поднять с пола лакея.

Степка поднялся, но, не вставая с колен, сложил руки и, смотря на Дениса Ивановича снизу вверх, в молитвенной позе продолжал исступленно просить его:

– Заступитесь, батюшка! За что же с человеком поступать так, ежели он ни душой, ни телом не виноват?

– Да ты встань, – настаивал Денис Иванович, но так как Степка не вставал, то он сам опустился на одно колено пред ним и проговорил: – Ну, вот так и будем стоять, коли хочешь, друг пред другом.

Степка, никак не ожидавший этого, оторопел и вскочил как ужаленный.

– Барин, да что же это? – задрожал он всем телом.

– Ты успокойся, – внушительно приказал ему Денис Иванович и положил ему руку на плечо – Ну, говори толком, что случилось?

У Степки судорога сжимала горло, и рыдания душили его, но он силился выговорить сквозь них:

– Меня в деревню ссылают... огороды копать... А ни за что... Я ни душой, ни телом... ни даже выговора не получил, а Зиновий Яклич велит вдруг...

– Тебя в деревню ссылают?

– Да, огороды копать, а у меня тут жена и дочь... Пропадут они без меня тут, да и там, в деревне, дворовому житья нет... Что ж, коли бы за дело... а тут, как

пред Богом, ни в чем не виноват...

Степку обидело, возмутило и привело в неистовство главным образом не само наказание, хотя оно было ужасно для дворового, которого, как сосланного и подвергнувшегося опале, действительно сживали со света и вымещали на нем всю злобу деревни к дармоедам-дворовым вообще, как будто они были виноваты, что господа их взяли к себе в хоромы. Его возмутила несправедливость наказания, свалившегося на него ни за что, и он пришел в такое отчаяние, что решил искать заступничества у молодого барина. Прежде никому это и в голову не пришло бы, но теперь, после вчерашней истории с мундиром, появилась уже заметная брешь в крепости самовластия Лидии Алексеевны, и, как вода в проточенной плотине, устремились помыслы радовичских дворовых к этой бреши.

Денис Иванович никогда не входил в отношения матери и управляющего к слугам и крепостным. Сами крепостные никогда не обращались к нему, а Лидия Алексеевна или Зиновий Яковлевич и подавно; и Денис Иванович вполне был уверен, что все там у них идет, как быть должно, то есть очень хорошо. Вероятно, он и прежде сделал бы все возможное для человека, обратившегося к его заступничеству, но дело было в том, что не имелось веры к нему, что его не счита-

ли способным выказать свою волю. И теперь только крайнее отчаяние, почти исступление заставило прибегнуть к нему Степку. И, к радости своей, тот увидел, что не ошибся, сделав это.

– Да ты, верно, натворил что-нибудь? – спросил Денис Иванович.

– Видит бог, ничего, то есть ничем не виноват!

Степка произнес это с убеждением и искренностью.

– Ну, хорошо, ступай за мной!

Денис Иванович спустился по лестнице. Степка за ним.

Внизу уже было известно, что он пошел «жаловаться» молодому барину. Яков Михеевич, дворецкий, несколько взволнованный, ждал; возле него был Адриан, считавшийся самым смелым; еще двое лакеев смотрели в щелку двери, остальная дворня разбежалась и попряталась по углам.

– За что ссылают Степку в деревню? – тихо спросил Денис Иванович у дворецкого.

– Так приказано, – недовольно ответил тот, пробуя, не оробеет ли барин пред его внушительным тоном.

Денис Иванович не оробел:

– Я тебя спрашиваю, что сделал Степка, а не о том, что приказано, – проговорил он.

– Спросите у Зиновия Яклича, – начал было Яков Михеевич, но не договорил, так как неожиданно Денис

Иванович покраснел и, перебивая его, крикнул:

– Как ты смеешь отвечать мне так? Ты не смеешь! Я тебя в третий раз спрашиваю, за что ссылают Степку?

– Не могу знать, – пробурчал Яков.

– Не можешь знать? Значит, ни за что! Ведь Степка все время на твоих глазах был?

– Был...

– Провинился он чем-нибудь?

– Не могу знать.

– Хорошо! Скажешь Зиновию Яковлевичу, что я беру Степку к себе наверх, в свое услужение; а ты, – обернулся Денис Иванович к Степке, – сейчас же перейдешь ко мне и ни в какую деревню не поедешь...

И, распорядившись таким образом, он отправился к себе наверх и снова сел с книгой у отворенных дверей на вышку.

Было уже совсем под вечер, и видневшаяся поверх деревьев сада верхушка церковки заалела в розовых лучах заката, когда Васька принес чай, а за ним показался Степка. На этот раз он был тих, сосредоточен и бледен как полотно, глаза у него расширились, дышал он порывисто и тяжело...

– Что с тобой, чего ты еще? – невольно вырвалось у Дениса Ивановича при одном взгляде на Степку.

Тот развел руками, хотел ответить, но задохнулся и не мог выговорить сразу.

– Меня... драть хотят, – произнес он наконец, – на конюшню велели прийти...

– Дра-ать? – протянул Денис Иванович. – За что?

– За то, что я к вам пошел. Говорят, выдерут и в деревню все равно сошлют...

– Ты врешь! – почти крикнул Денис Иванович, опять краснея. – Не может быть, не может этого быть! Если так, я сейчас к матушке пойду...

И, вскочив с места, он быстро направился к лестнице.

Степка поглядел ему вслед и, не ожидая ничего хорошего для себя от разговора Дениса Ивановича с матерью, безнадежно проговорил:

– Пропала моя головушка!

Внизу Яков, дворецкий, попробовал было загородить дорогу Денису Ивановичу со словами: «Велено сказать, что нездоровы, и не пропускать!» – но тот отстранил его, и дворецкий взялся только за виски и качал голову.

Денис Иванович застал мать в маленькой гостиной. Она сидела с Зиновием Яковлевичем и играла в пикет. Возле нее на маленьком столике лежал флакон с нюхательною солью и стоял стакан с флёр-д'оранжевой водой. Зиновий Яковлевич только что сдал, и Лидия Алексеевна разбирала карты, когда вошел Денис Иванович.

– Маменька, что же это такое? – заговорил он, не дожидаясь, пока она обернется к нему.

Лидия Алексеевна положила карты и выпрямилась. Корницкий слегка прищурился, и рот его скривился деланной улыбкой. У Лидии же Алексеевны теперь не появилось обычной ее презрительной улыбки при разговоре с сыном...

– Маменька, – продолжал Денис Иванович, – я слышал, что лакея Степку без вины хотели сослать в деревню на огороды, а за то, что я не позволил этого и взял его к себе, его хотят сечь!..

Лидия Алексеевна подвигала губами, прежде чем ответить, точно они у нее слишком сохлились, чтоб заговорить сразу, и наконец произнесла:

– Это – мои распоряжения, и отменять их не смеет никто.

– Ваши? – добродушно удивился Денис Иванович. – Да не может быть!.. Но что же Степка сделал?

– Ты смеешь требовать у меня отчета?

– Не отчета, маменька, но, насколько я знаю, он не виноват! Вы, может быть, ошиблись. Нельзя наказывать человека так... Что он сделал?..

– Не понравился мне, и только. Видишь, – Радович показала на стакан и на флакон, – я больна, нездорова, а ты вламываешься ко мне без спроса и из-за холопа допросы мне чинишь... Ты что же, смерти моей

хочешь? Смерти? Ты убить меня пришел? Тогда так прямо и говори...

Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, как бы приняв уже заранее положение, в котором собиралась умирать.

Это как будто подействовало на Дениса Ивановича; он уже растерянно и почти робко переступил с ноги на ногу и оглянулся, как бы ища помощи; но дело испортил Зиновий Яковлевич.

Корницкий, не присутствовавший при вчерашней сцене по поводу мундира, вообразил, что Лидия Алексеевна взяла не тот тон, который нужно, и вмешался, как вмешивался, бывало, когда Денис Иванович был ребенком. Он поднялся со своего места и, расправляя плечи своей барственной фигуры, заговорил было:

– Я должен сказать...

– Молчать! – резким фальцетом завопил Денис Иванович. Кровь бросилась ему в лицо, и он задрожал истерично, нервно. – Молчать... Не смей... разговаривать! Душегубец... Осмеливаться... вводить... мать... в несправедливость. Не позволю! Степку не трогать. Не смей! – Он выкрикивал слова отдельно, точно выбрасывал их, ставя после каждого точку, как будто каждое из них составляло целое отдельное предложение. – Не смей, – подступил он к Корницкому, стискивая кулаки, почти с пеной у рта, и, слов-



но боясь сам себя, повернулся и выбежал вон. Но на лестнице раскатился его голос по всему дому и долетел до гостиной. – Сказать всей дворне, – крикнул он дворецкому Якову, – что, если кто тронет Степку хоть пальцем, того я изобью собственными руками.

Лидия Алексеевна билась беспомощно в креслах, мотая головой из стороны в сторону.

Корницкий подобрался, подтянулся весь, и тут только вполне выказалось, что это был за человек. Он подошел к Лидии Алексеевне, положил ей руки на плечи и скорее прошипел, чем проговорил:

– Лидия, тут отчаяние неуместно. Нужно действовать...

– Что же я могу?.. Что же я могу? – слабо отозвалась она. – Ты видишь, он возмущает людей, дворню... Скандал пред холопами... Он не гнушается ничем...

– Он – явно сумасшедший и с ним надо поступить, как с сумасшедшим, – внятно произнес Зиновий Яковлевич...

Лидия Алексеевна вдруг затихла и глянула на него:

– Что ты хочешь сказать?

– То, что есть на самом деле...

– Зиновий!..

– Тогда делайте, как знаете! – и Корницкий отошел...

Лидия Алексеевна взялась за голову.

– Постой! Не соображу ничего. Ты говоришь – сумасшедший?

– Разумеется.

– Тогда нужно доктора.

– Разумеется! Позвольте мне сделать все, что нужно. Я поеду сейчас...

– Ты говоришь, сейчас...

– Нельзя оставлять безумного без помощи.

– Да, без помощи... Тогда поезжай!.. Нет, постой!

– Надо же решиться! – останавливаясь в дверях, проговорил Зиновий Яковлевич. – Завтра он поднимет всю дворню, весь город, наконец...

Лидия Алексеевна махнула только рукой, опустила голову и закрыла лицо...

Зиновий Яковлевич поспешно прошел к себе, на ходу приказал скорее закладывать карету и стал одеваться. Он надел кафтан, навесил все свои ордена, захватил из письменного стола все деньги, какие были у него, и, как-то особенно тряхнув этими деньгами – дескать, при помощи их все можно сделать, – уехал, велел кучеру гнать лошадей.

Одно слово, вырвавшееся у Дениса Ивановича, в порыве бешеного его гнева, заставило Корницкого действовать, не теряя времени, поспешно и решительно. Слово это было «душегубец». Случайно ли

произнес его Денис Иванович или нарочно, – Корницкому разбирать было некогда. Слово вылетело и нужно было, значит, действовать.

Вернулся Зиновий Яковлевич поздно, когда давно уже стемнело, почти ночью.

Дом был весь освещен. Его ждали. Лошади были сильно взмылены, но он не велел откладывать карету и оставил ее у крыльца, сказав, что она понадобится скоро опять. На козлах сидел его собственный кучер, вольнонаемный татарин.

Проходя через сени, Корницкий задал грозный окрик, зачем дом освещен и не спят.

– Тушить огни и ложиться! – приказал он. – И чтоб у меня никто пикнуть не смел!.. Яков, распорядись! Потом ко мне придешь...

Мало-помалу огромный дом Радовичей погрузился во тьму и затих. Огни погасли всюду, и в кучерской, и в сторожке.

Корницкий, как был в своем кафтане и в орденах, сидел у себя и ждал. Дворецкий явился к нему с докладом, что приказание его исполнено. Зиновий Яковлевич близко, почти в упор подошел к Якову и сказал:

– Денис Иванович свихнулся разумом. Надо отвезти его немедленно в больницу. Я там был, уговорился с доктором... Его возьмут на испытание, а затем созовут комиссию для признания его сумасшедшим.

– Та-а-к-с! – протянул Яков.

– Надо взять его немедленно и отвезти. Он навер-  
ху?

– Наверху.

– Лег?

– Кажется. Васька вещи вынес.

– Тем лучше. Но добром он, конечно, не поедет.

– Не поедет.

– Надо взять силой.

Яков, человек огромного роста и значительного до-  
родства, как-то в молодости отличался тем, что под-  
нимал один карету за рессору. Теперь, несмотря на  
годы, он дышал еще здоровьем и силой. Эту силу зна-  
ла и боялась ее радовичская дворня.

– Силой, конечно, можно... – начал было он.

– Надо, надо! – перебил его Зиновий Яковлевич. –  
Он в своем безумии погубит всех. Ты слышал, что кри-  
чал он? И меня, и тебя погубит...

Яков, прищурясь, смотрел на Корницкого. Тот гово-  
рил, а сам дрожал.

– Само собой, – рассудил Яков, как бы не понимая  
никаких намеков и не замечая, что делалось с Зино-  
вием Яковлевичем, – ведь если безумный, так может и  
дом сжечь, или из пистолета выстрелить и погубить...  
Всяко бывает...

– Так надо взять, связать и отвезти в больницу...

Надо пойти! – Зиновий Яковлевич оглянулся, искал глазами, быстро подошел к окну, снял два шнурка от гардины, протянул один Якову, а другой оставил у себя. – Идем! – Но, сказав это, он остановился. – Не позвать ли еще Адриана? – предложил он.

Яков шевельнул плечами и оглядел высокую, сильную фигуру Корницкого с его холеными, но цепкими руками.

– Не надо. И без Адриана обойдемся.

Больше они ничего не сказали друг другу и отправились наверх. Зиновий Яковлевич шел впереди со свечой в руке. Они неслышно переступали по ступеням лестницы, крадучись и затаив дыхание.

Тридцать четыре года тому назад они так же вместе ночью поднимались по этой лестнице, и так же Корницкий шел впереди и держал свечу в руке. Это было так же в мае.

«Тринадцатого числа! – вспомнил Яков Михеевич. – А сегодня одиннадцатое мая».

Он остановился и непроизвольным движением ухватился за перила.

Зиновий Яковлевич не столько услышал его движение, сколько почувствовал и обернулся. Яков увидел близко его освещенное свечою лицо и глаза, холодные и решительные.

Теперь они словно поменялись ощущениями.

Дрожь бессознательная или, может быть, именно происходящая вследствие того, что он, вспомнив старое, сознал и настоящее, появилась у Якова, а Корницкий, напротив, как только наступил решительный момент действия, стал несокрушимо бесстрастен и спокоен. Свеча не колебалась в его руке, светила ровно, не колыхаясь, и глаза с расширенными зрачками смотрели холодно и решительно. Он двинул бровью на Якова и еще увереннее зашагал вперед. Тот, точно по инерции повинувшись ему, продолжал подниматься.

Наверху, в мезонине, кроме двух занижаемых Денисом Ивановичем комнат, была еще одна.

В ней тридцать четыре года назад умер ночью Иван Иванович Радович, муж Лидии Алексеевны, отец Дениса, приехавший тогда с управляющим и лакеем Яковым в Москву по делам из имения. С тех пор комната эта стояла запертою, ключ от нее хранился у самой Лидии Алексеевны, и туда никто не входил. Так думали по крайней мере в доме.

Из-за этой комнаты и мезонина не любили, и даже ходили слухи, что там неладно бывает по ночам – слышались стоны и стуки. Кто-то хотел подсмотреть в страшную запертую комнату, но тут же потерял память и не мог рассказать, что увидел там.

У Дениса Ивановича в мезонине был посредине кабинет с дверью на балконную вышку, налево – его

спальня, а направо находилась запертая комната, где умер его отец...

Корницкий, а за ним Яков, поднявшись по лестнице, вошли в кабинет. Дверь направо была отворена, и из нее виднелся свет...

– Кто там? – послышался оттуда голос...

Корницкий и дворецкий, не ответив, подошли к двери, и тут только, заглянув в дверь, Яков сообразил, что они стоят не на пороге спальни Дениса Ивановича, которая должна быть налево, а на пороге той «запертой» комнаты, которая направо.

Все в этой комнате было совершенно так, как тридцать четыре года тому назад; так же теплилась лампадка у образа, так же стояли мебель и постель, и так же на этой постели лежал барин с коротко остриженными под парик черными волосами. Только тогда он лежал, и они подошли к нему, а теперь он поднялся, сел, оперся на руку и смотрел на них во все глаза.

Возле Якова с грохотом упал подсвечник, вывалившийся из рук Зиновия Яковлевича. Яков слышал этот грохот, видел, как Корницкий со всех ног бросился назад, охваченный ужасом пред видением, но оно не исчезло, комната оставалась тою же, и «барин» сидел на постели, опирался на руку и смотрел...

– Чур меня, чур меня, сгинь, пропади! – отмахиваясь рукою, в которой держал гардинный шнур, загово-

рил Яков.

Барин спустил ноги с постели, нашел ими туфли и приблизился.

– Ты убил, ты убил? Говори, ты убил вместе с ним? – услышал Яков, узнавая голос Дениса Ивановича, до полного обмана, без парика, похожего на отца.

Он носил другой парик, чем отец, и это меняло его лицо. Без парика же никто его не видел, кроме Васьки.

– Не я, – чуть слышно прошептал Яков, – все он сделал... Я из-под неволи...

– Довольно, теперь я знаю все!.. Беги, беги в монастырь, кайся, замаливай грех! – воскликнул Денис Иванович, схватив руку Якова и стискивая ее.



## X

Анна с Валерией ходили, обняв друг друга за талию, по дорожке сада, возле лужайки, на свежей молодой траве, на которой они играли вчера в серсо с Денисом Ивановичем. Валерия смотрела мечтательно вверх, потому что она так привыкла вперять взор в небо, что могла это делать даже днем, не чихая. Анна шла, опустив грустно голову, и смотрела себе под ноги.

– Я понимаю так, – сказала Валерия, – уж если полюбить, то так, чтобы никто не знал этого, и навсегда...

– Нет, а по-моему, напротив, – возразила Анна, – я хотела бы всем рассказать, чтобы все знали, если бы это только не было стыдно...

Валерия помотала головой, как опытный начетчик-старовер, которого хотят научить чему-нибудь новому по знакомым ему старым книгам.

– Тут дело не в том, что стыдно, – заметила она, – а нельзя метать бисер. Каждый любит по-своему, и другим не понять; значит, нечего и говорить им. Все равно не поймут.

– Ну а он, – спросила Анна, – тот, которого любишь?

– Он должен знать об этом менее, чем кто-нибудь.

– Но тогда как же?

– А так, не должен. Пусть сам полюбит... Или нет. Этого не может быть...

– Отчего?

– Потому что тогда слишком большое счастье. Его не может быть на земле. Только в небе. Там, когда души встретятся, там все будет известно.

– Браки совершаются на небесах, – сказала Анна.

– Да, но не так, как это думают, то есть мы здесь, на земле, а на небесах браки... Нет, это тогда, когда мы перейдем туда...

– Как же, если, например, кто дожил до старости? Ну, вот хоть твоя тетка. Ей уже поздно, я думаю, даже на небесах думать о браке...

– Ах, милая, на небесах нет ни старых, ни молодых; там вечность.

– А для меня, Валерия, вечность – что-то такое далекое! Когда она еще будет?! А пусть лучше хоть несколько годков, но на земле, пока мы молоды.

– Анна, я думаю, что даже грешно говорить так.

– Почему же грешно? Венчают же в церкви...

– Но так редко с тем, кто любим. На земле это – исключительное счастье. Нет, когда очень любишь, то этого не бывает, потому что это нездешнее и не может быть здесь...

– Неужели не может?

– А ты как думаешь? Ну, вот ты любишь...

– Люблю.

– Но ведь не здешнюю, не человеческою любовью, ты любишь совсем идеально.

– Отчего же? Я люблю и здешней, как ты говоришь, любовью.

– Но постой, ведь такого человека нельзя... к нему нельзя относиться обыкновенно. Он не такой, как другие.

– Правда, он лучше всех. Но ты почему знаешь?

– Потому что я знаю, кого ты любишь и кто он.

Анна вдруг густо покраснела, так что ее большие, прекрасные черные глаза даже подернулись влагой.

– Откуда ж ты знаешь? – спросила она.

– Случайно, – восторженно ответила Валерия, – то есть не случайно, но, очевидно, тут перст судьбы... Анна, ты знаешь, я ведь тебе такой друг, такой друг, что если б я кому-нибудь сказала, что на душе у меня, то только одной тебе... И вот, как бы в награду за мою дружбу к тебе, судьба мне открыла твою тайну. Пойдем сюда... сюда!.. – и она повлекла Анну вперед по дорожке и, быстро переведя ее через мостик по пруду на остров, где была скамейка под березой, показала ей свежесрезанные на белом стволе дерева буквы: «Павел». – Это ты вырезала, – сказала Валерия.

– Уверяю тебя, не я, – покачала головой Анна.

– Ты отнекиваешься?

– Нет. Но, право, я не вырезала.

– Ну хорошо! Но скажи только, что его не так зовут...

– Нет, так, – опуская голову, чуть слышно произнесла Анна и села на скамейку.

– Ну, вот видишь. А разве он – обыкновенный человек?

– Нет, он лучше всех.

– Не только лучше, но и выше.

– Как выше?

– По положению.

– По положению?

– Разумеется. Анна, голубушка, я так понимаю тебя.

Ты не думай. У меня была подруга, так она влюбилась в священника. Это узнали. Все смеялись над ней, но я ее понимала и сочувствовала, потому что любовь ее была идеальная, безнадежная, такая, как твоя...

– Но почему, как моя? Я не влюблена в священника.

– Но в императора! – выговорила Валерия. – И я тебе скажу, что это многие уже подозревают и говорят об этом...

– Как подозревают? Как говорят? – воскликнула Анна. – Вот вздор!.. – и она рассмеялась весело и звонко.

– То есть что, по-твоему, тут вздор?

– Нет, мой друг, я не влюблена в императора, – се-

рьезно проговорила Анна.

– Ты скрываешь от меня, твоего друга! – укоризненно сказала Валерия. – Как же это имя «Павел»?

– Павел, но не тот... вовсе не тот...

– А кто же?

Анна ответила не сразу.

– Хорошо, я скажу тебе, – протянула она наконец, – потому что действительно, видно, судьба... Или нет, не скажу – догадайся сама! – Она подняла валявшийся на земле прутик и вывела им на песке: «Павел», потом поставила букву «Г» и за нею семь точек... – Ну? – сказала она. – Прочти...

Валерия наклонилась, долго глядела на букву «Г» и точки и старалась вспомнить и подобрать все знакомые фамилии на Г. Но именно потому, что она старалась вспомнить и подобрать, у нее ничего не выходило.

– Не могу, – сказала она, – на меня словно затмение нашло. Ни одной даже подходящей фамилии не могу вспомнить.

– Ну, это «н» и «ъ», – показала Анна на две последние точки.

– Я прочла! – проговорила Валерия. – Неужели он?

Анна взглянула ей в лицо, стараясь по глазам ее узнать, догадалась она или нет.

– Это – какая буква? – спросила она, показывая на

вторую точку.

– «А».

– А эта?

– Опять «г», а потом опять «а»...

– Отгадала, будет! Ну, теперь знаешь? – остановила ее Анна.

Валерия прочла и по проверке не ошиблась: написано было «Павел Гагарин».

Князь Павел Гаврилович Гагарин был один из офицеров, вращавшихся в московском обществе, бывавших в числе прочих молодых людей у Лопухиных и танцевавших с Анной на балах. Валерия знала, что он вместе с целым рядом своих сверстников был «без ума» от Анны, как говорили тогда, но и не подозревала, что сама Анна чувствует к нему склонность и что он является счастливым соперником остальных и избранником ее сердца. Для Валерии до сих пор Гагарин был самым обыкновенным, земным существом и больше ничего.

– Но я думала, что для тебя... что ты... – силилась подобрать она нужное выражение, – что ты... выберешь более... что-нибудь... Ведь он – простой офицер...

– Ты его не знаешь! – возразила Анна. – Нет, он не простой. Это – удивительной души человек... Нас зовут, кажется? – и она прислушалась.

– В самом деле, зовут, – подтвердила и Валерия, до которой тоже донесся голос Екатерины Николаевны, кликавшей Анну.

– Ау, идем! – громко отозвалась Анна и побежала, а Валерия за ней.

Однако, выбежав на дорожку, они сразу остановились.

От дома навстречу им шла Екатерина Николаевна с приземистым, неловко передвигавшим ноги человеком в придворном мундире. По монгольскому с выдавшимися скулами лицу и по узким черным, как коринки, глазам Анна сейчас же узнала в нем Ивана Павловича Кутайсова, гардеробмейстера государя.

Она и Валерия направились степенным шагом и, поравнявшись с важным гостем, низко присели ему. Он, стараясь ответить им поклоном, как можно более изысканным, шаркнул по песку, что вовсе не надо было делать.

– Идите к Анне Петровне, – сказала барышням Екатерина Николаевна, – и побудьте с нею пока, а мне нужно поговорить с Иваном Павловичем.

Кутайсов каждый день бывал у Лопухиной, во все время пребывания императора Павла в Москве во вторичный его приезд сюда. Под Москвою после смотра происходили маневры, и государь присутствовал на них, а Кутайсов оставался в Москве. Все вообра-

жали и, не стесняясь, говорили потом, что «он был послан негоциатором и полномочным министром трактовать инициативно с супругою Петра Петровича Лопухина, Екатериною Николаевной, о приглашении Лопухина с его фамилией в Петербург. Негоциации продолжались во все время маневров, и прелиминарные пункты были не прежде подписаны, как за несколько минут до отъезда его величества в Казань».

Екатерина Николаевна, оглянувшись, проводила взором дочь и ее приятельницу и, когда они скрылись в доме, обернулась к Кутайсову.

– Конечно, – сказала она, продолжая только что начатый с ним разговор, – я буду во всем сообразоваться с вашими видами и, прямо скажу, вашею пользою.

– Я своей пользы не ищу, – заметил Кутайсов.

– Тем более причины искать ее для вас вашим друзьям, – подхватила Лопухина. – На меня вы можете положиться. Я думаю, князь достаточно рекомендовал вам меня.

Она говорила о князе Безбородко, который при восшествии императора Павла на престол передал ему все тайные бумаги, касавшиеся задуманного Екатериною II дела устранения своего сына от престола. Есть указания, что князь Зубов принимал также участие в передаче этих бумаг, открыв место, где они хранились. Этим поступком Безбородко вызвал доверие



к себе императора и пользовался его милостями. Манифест о восшествии Павла на престол составлял тоже Безбородко. При воцарении Павла Петровича ему было пожаловано княжеское достоинство с титулом светлости, и он был назначен государственным канцлером.

Для упрочения своего влияния, в расчете окончательно завладеть императором Павлом, он вместе с Кутайсовым повел интригу относительно Анны Лопухиной. Поэтому немудрено было, что Екатерина Николаевна, бывшая с Безбородко прежде очень близка, упоминала о нем в своих переговорах с Кутайсовым.

– Мне свидетельства князя не нужно, – возразил Кутайсов, – я сам вижу...

– Конечно, с вашей проницательностью и знанием людей вы можете сами видеть, – в тон ему певуче сейчас же заговорила Екатерина Николаевна. – Да ведь и я-то вся тут пред вами... Я хитрить не умею, да и бесполезно это было бы с вами. Я прямо говорю: на меня вы можете понадеяться. Я желаю занять в Петербурге видное место; мне, как всякой женщине, еще не старой, разумеется, хочется этого, а остального мне не нужно.

– А ваш супруг? – спросил Кутайсов.

– О нем беспокоиться нечего. Он – слишком деловой человек и слишком занят своими делами. На-

значение в Петербург он примет, как должное ему за его труды, которые, надо отдать ему справедливость, очень велики и сами по себе стоят быть замеченными и вознагражденными. Он занят день и ночь. То же будет и в Петербурге. Он и не заметит ничего среди своих занятий. Нет, он – кабинетный человек, не обратит внимания и никогда не поймет сути действительной жизни. Будьте покойны!

Все это они уже обсуждали сначала намеками и недомолвками и, наконец, теперь перешли к прямой откровенности, так сказать, договариваясь по пунктам, потому что главное и существенное уже было сговорено у них.

– Ну, а сама она? – после некоторого молчания спросил Кутайсов.

– Кто? Анна? Вы знаете, – понизив голос, сказала Екатерина Николаевна, – ей предсказано еще в детстве, что она будет носить четыре ордена или знака отличия. Для простой женщины это немислимо, и мы считали предсказание нелепым, однако вот всякое может случиться!..

– Я говорю о ней самой, о ее чувствах, – пояснил Кутайсов.

– О, в этом отношении она – еще дитя; ей шестнадцать лет...

– Двадцать один, насколько я знаю, – поправил Ку-

тайсов, не считавший нужным скрывать, что ему-то известны годы Анны Петровны.

– Ну, положим, двадцать первый, – все-таки уменьшила Екатерина Николаевна, – но дело не в годах, а в ее душе. Я знаю ее душу, и из-под моего влияния она не выйдет. Конечно, это – самая трудная сторона дела, но я беру все на себя и не сомневаюсь в успехе. Ручаюсь вам, что к переезду в Петербург она будет достаточно подготовлена ко всему.

– Так ли, Екатерина Николаевна?

– Уверяю вас, Иван Павлович. Я достаточно знаю сердце девушки и могу руководить им. Да, я думаю, мне особенно даже не придется стараться – мы встретим благодарную почву...

Они как будто незаметно перешли мостик на островок на пруду и очутились у скамейки, где только что были Анна с Валерией.

– Да вот, смотрите, – показала Екатерина Николаевна на вырезанное имя на стволе березы, – прочтите!

– «Павел», – прочел Кутайсов...

– А тут видите... на земле...

– Тоже «Павел», – сказал Кутайсов, – но затем стоит буква «Г» и раз, два, три... семь точек, – сосчитал он.

Екатерина Николаевна сморщила брови, но сейчас

же ее лицо снова прояснилось.

– Это значит, – с уверенностью заявила она, – «государь». Вот, – обрадовалась она, сама не ожидавшая, что дело с Анной идет так успешно, – вот видите подтверждение моим словам.

Кутайсов подумал и, как показалось Лопухиной, убедился.

Они сели на скамейку.

– Но все-таки это очень сложно, – начал рассуждать он. – Ведь в девицах ей оставаться не след, надо выдать замуж.

Он говорил без обиняков, не стесняясь, убедившись главным образом, что с такой женщиной, как Екатерина Николаевна, стесняться нечего.

– Я все знаю, – улыбнулась она, – поверьте, я думаю обо всем. И у меня уже есть на примете, я полагаю, человек... подходящий. – Она подождала, не скажет ли что-нибудь Кутайсов, но тот ничего не сказал. – Он – дворянин, – продолжала Екатерина Николаевна, – сын бывшего приближенного императора Петра Третьего, отца государя, человек не без состояния, не старый, на вид довольно презентабельный, служит в сенате и занимается там вроде моего мужа. Он весь ушел в дела и книги, а в жизни наивен и прост до глупости. С мальчишками в пряники играет на улице. Его считают немножко помешанным; но он тихий

и вполне безобидный. Просто глупый человек. С ним можно будет сделать все, что угодно. Он ничего и подзреть не станет...

– Кто же это? – проговорил Кутайсов, как будто довольный сделанной Лопухиной характеристикой.

– Радович. Он вчера был у нас. Я его нарочно пригласила, чтобы показать его вам, но вы приехали вчера вечером и не могли видеть. Я ему велела сегодня приехать. Не знаю, отчего его нет.

– Радович? – повторил Кутайсов. – А у него есть мать, то есть жива она?

– Жива. Отец умер, а мать жива...

– Так это она, значит! – сообразил Кутайсов.

– Что она?

– Сегодня от нее было только что подано письмо государю. Она просит, как жена бывшего слуги императора Петра Третьего, чтобы государь принял ее и выслушал...

– И что же государь?

– Приказал известить, что примет ее вечером, когда вернется с маневров... Для него все, что касается его отца, окружено уважением, почти священо. На коронацию Радович ничего не получила. Верно, просить хочет чего-нибудь...

– Надо с ней быть осторожным, – предупредила Екатерина Николаевна.

– Я уже велел навести справки, – спокойно сказал Кутайсов.

# XI

Трудно было предположить, чтобы Зиновий Яковлевич Корницкий, с его гордо закинутой головой, открытым, смелым видом и мужественной, сильной фигурой, не был храбр. В самом деле, он ходил на охоту, на медведей, прав да, когда возле него стоял опытный охотник с ружьем, якобы запасным. Он смело лез на каждого дворового с кулаками и часто собственноручно расправлялся с человеком, гораздо сильнее себя, но этот человек был крепостной, знавший, что на конюшне всегда готовы розги. На самом деле кажущаяся храбрость Зиновия Яковлевича была не чем иным, как нахальством или наглостью, столь свойственными натурам мелким, но лишь скрытыми личиною барственных, уверенных манер и выдержкою.

Никто из радовичской дворни и не подозревал, что всегда страшный для нее управляющий боится оставаться один в темной комнате и так суеверен, что не уступит в страхе пред сверхъестественным любой дворовой бабе...

Ему больших усилий стоило, чтобы заставить себя пойти наверх к Денису Ивановичу вместе с Яковом дворецким. Он решился на это лишь потому, что никому не мог поручить исполнение задуманного дела.

Когда же он очутился на пороге комнаты, которую считал запертой и необитаемой, и увидел, что не только ожила эта комната и все в ней было совсем так, как ночью тридцать четыре года тому назад, но и на постели лежал человек с подстриженными черными волосами, то принял это, как и Яков, за видение, уронил подсвечник и в паническом ужасе убежал...

На лестнице он приостановился, подождал, не следует ли за ним Яков, и, вновь испуганный как бы зловещей, охватившей его тишиной, со всех ног кинулся к Лидии Алексеевне.

Она не ложилась спать и ждала его, чтобы узнать о результате его хлопот. Понадобились капли, уксус, холодный компресс на голову.

Придя в себя, Зиновий Яковлевич просидел с Лидией Алексеевной всю ночь, обсуждая, что делать и как быть.

Они вместе составили письмо к государю, и Корницкий в пять часов утра повез это письмо во дворец.

Когда он выезжал, в воротах прижался к столбу выходящий со двора человек, в страннической одежде, и проскользнул затем за каретой. Зиновий Яковлевич глянул на него и не узнал, что это был дворецкий Яков.

У того давно была приготовлена эта странническая одежда, он давно собирался бежать, чтобы замали-



вать свой грех, и решил, что сегодня настал час его покаяния. Он исчез, и к полудню стало известно, что Якова Михеевича нет нигде во всем доме.

О том же, что он с управляющим поднимался вчера наверх и там произошло что-то страшное, разболтал еще раньше Степка, о котором забыли, что он был наверху. Однако Степка сам так перепугался, что ничего не слышал и не мог разобрать ничего толком.

С исчезновением Якова Михеевича царившая до сих пор дисциплина страха пред старой барыней и управляющим пошатнулась, и каждый почувствовал, что «молодой барин» дал себя знать и что управляющий что-то замышляет против него.

Как-то само собою, молчаливым согласием, в дворе не образовалась охрана Дениса Ивановича, и уже к полудню раздались голоса: «Наш барин Денис Иванович, и мы его не выдадим!» У Степки в кармане лежал медный пестик от ступки, и у многих было готово за пазухой оружие: у кого – гиря, у кого – брусок железный. Самый смиренный и угрюмый из всей дворни, сторож Антип, взял в руки лом и не расставался с ним.

Единственно, на что могла рассчитывать Лидия Алексеевна, – это на свой прием у государя, которому она хотела пожаловаться на непокорного сына и просить его, чтобы он своею властью укротил безумного. Корницкий привез из дворца благоприятный от-

вет: вечером, когда государь вернется с маневров, он примет Лидию Алексеевну.

Денис же Иванович, как ни в чем не бывало, утром отправился в сенат и приехал домой в обычное время.

На лестнице стоял казачок Васька, а наверху Денис Иванович наткнулся на Степку и выездного гайдука Федора. Они охраняли мезонин, а Васька был поставлен на лестнице для подачи сигнала к тревоге, если понадобится защита молодому барину.

– Что вы тут делаете? – удивился Денис Иванович, увидев Степку с Федором.

Последний замялся, а первый бойко ответил:

– Вы изволили приказать быть мне наверху.

– А он? – показал Денис на Федора.

– Ко мне зашел! – объяснил Степка.

Денис Иванович больше не расспрашивал и прошел к себе. Отцовская комната была у него заперта, и даже дверь в нее из его кабинета была заставлена, как обыкновенно, комодом.

Целый день Лидия Алексеевна была занята приготовлением к вечерней поездке во дворец. Нужно было хитро и подробно обдумать, во-первых, наряд, во-вторых, что говорить и как держать себя пред государем. Наряд должен был быть, конечно, отнюдь не праздничный, а, по возможности, скромный, приличный ма-

тери, убитой непослушанием дерзкого сына, но вместе с тем отнюдь не мрачный, потому что Павел Петрович не любил ничего мрачного. После долгих колебаний Лидия Алексеевна остановилась на темно-зеленом роброне.

Причесывать ее начали еще засветло. Горничные, под предводительством самой Василисы, суетились вокруг нее, возводя сложную пудреную прическу на голове.

Лидия Алексеевна, изжелта-бледная, кусала губы и, занятая своими мыслями, отрывочно приказывала, когда что-нибудь делалось не так. Трем девкам она, ни слова не говоря, дала по пощечине, две были сосланы в ткацкую.

Наконец, Лидия Алексеевна, разодетая, распудренная и раздушенная, вышла, чтобы садиться в карету. На крыльце ждал ее торжественно Зиновий Яковлевич.

– Королева, царица моя, – встретил он ее, целуя у нее руку и не столько желая польстить ей, сколько ободрить для «подвига», как он называл поездку ее во дворец, а когда она села в карету, он вдруг сам вскочил на козлы, вместо выездного, и крикнул кучеру: – Пошел!

Радович была тронута до слез его преданностью и всхлипнула от умиления, не подозревая, что Зиновий

Яковлевич главным образом потому поехал с ней, что боялся оставаться один без нее в доме.

Лидия Алексеевна была принята государем отдельно от других, пробыла у него тридцать пять минут и вышла очень взволнованная, утирая слезы, но, по-видимому, довольная. Провожавший ее от внутренних до парадных апартаментов Кутайсов несколько раз внимательно пригляделся к ней, стараясь разгадать, зачем она была у государя.

Все справки относительно Радович были уже им собраны, и ему была известна вся ее подноготная. Она прошла, не вступая с ним в разговор, и он ни о чем не спросил у нее. Он знал, что ему спрашивать не надо, потому что государь, вероятно, сам ему сейчас расскажет все. И действительно, только что он проводил Радович, раздался в кабинете государя удар звонка, призывавший его туда.

Когда вошел Кутайсов, Павел Петрович стоял у окна и, морщась, показал на дверь.

– Там есть еще кто-нибудь?

– Никого, Ваше Величество, – согнувшись, ответил Кутайсов и остановился как бы в ожидании приказа.

Он, давно хорошо изучивший Павла I, видел, что разговор с Радович чем-то несколько раздражил его, но все же не настолько, чтобы изменить хорошее расположение духа государя, очень довольного приемом

в Москве и шумным проявлением народного восторга.

Как бы в доказательство этого Павел Петрович поглядел на него и проговорил по привычке своей иногда думать вслух при Кутайсове:

– Московский народ любит меня гораздо больше, чем петербургский. Мне кажется, что там меня скорее боятся, чем любят...

Кутайсов нагнулся еще ниже и как бы уронил чуть внятно:

– Это меня не удивляет...

Государь сдвинул брови и, думая, что ему послышалось, переспросил:

– Не удивляет? Почему же?

Кутайсов вздохнул и развел руками.

– Не смею объяснить...

– Ну, и не объясняй, – усмехнулся Павел, – все равно глупость скажешь...

Он подошел к столу и стал искать на нем. Кутайсов сделал шаг вперед и поспешно проговорил:

– Что угодно Вашему Величеству?

Павел Петрович нашел на столе карандаш, взял кусок бумаги и написал крупными буквами: «Радович».

– Мне угодно, – сказал он, поднимая голову, – чтобы меня поняли, чтобы поняли, что я только хочу блага и справедливости...

– Ваше Величество, – начал было Кутайсов, но го-

сударь перебил его:

– Ты достаточно награжден и возвеличен, доволен ты?

– Я благодарю лишь...

– Ну, и будь доволен, и молчи, и молчи, – повторил Павел I, как будто угадывая его мысли и прямо отвечая на них. – Ты о Радович знаешь что-нибудь?

Кутайсов живо и подробно доложил все, что успел узнать о Лидии Алексеевне. Эта предупредительная сметка была особенно ценна в нем, и он угождал государю всегда тем, что у него был готов ответ на каждый вопрос.

– А сын ее? – спросил Павел.

– Говорят, трудолюбивый молодой человек... О нем хорошие отзывы.

– Не совсем. Мать приезжала жаловаться на него. Впрочем, я это узнаю...

На другой день рано утром Петр Васильевич Лопухин явился с докладом по порученным ему императором сенатским делам. Государь, отправляясь на маневры, посадил его с собою в карету с тем, чтобы по дороге выслушать его. Между прочим он спросил у Лопухина о Радовиче. Тот знал Дениса Ивановича по его службе в сенате и дал о нем очень хороший отзыв.

## XII

Лидия Алексеевна была очарована оказанным ей государем приемом.

Павел Петрович, рыцарски вежливый с дамами, произвел на нее впечатление необыкновенной сердечности и участия. Хотя он ничего особенного, в сущности, не сделал, а просто обошелся с нею по-человечески, выслушал ее и сказал, что образумит ее сына, на которого она приносила слезную жалобу, но Лидия Алексеевна почла эту простоту обхождения за особенное к ней расположение императора, как к жене бывшего слуги его отца.

Она не могла себе представить, чтобы император был со всеми таков, как с нею. По рассказам и по ходившим слухам, нелепым, неверным, преувеличенным и переиначенным, она составила себе совершенно иное, как и большинство ее современников, представление о Павле Петровиче. И вдруг он оказывается простым, добрым и отзывчивым человеком!

Конечно, приписала она это своей собственной добродетели, уменью говорить и разжалобить. Она была уверена, что так хорошо повела дело, что Павел Петрович всецело на ее стороне. Он, вероятно, поручит кому-нибудь переговорить с ее сыном. Тот, глу-

пый, не сумеет и двух слов связать, и все увидят, что она права.

Она просила государя отдать ей тридцатичетырехлетнего Дениса Ивановича в опеку и не сомневалась теперь, что добьется своего. Ей страстно хотелось, чтобы это случилось, и, не имея другого выхода, она с таким ужасом думала о неудаче, что верила, потому что не верить в успех было бы слишком большим ударом для ее несокрушенной до сих пор гордыни.

Зиновий Яковлевич хотя и не смотрел так уверенно в будущее, но все же приободрился и на всякий случай высматривал и замечал, кто из дворовых как ведет себя и кого из них нужно подвергнуть впоследствии примерно наказанию.

О бежавшем дворецком Якове не было подано заявления для его розыска. Зиновий Яковлевич нашел это совершенно излишним.

Марья Львовна приехала за двумястами рублями к Лидии Алексеевне, и та вручила их ей, как обещала, получив взамен сведение, что билет на бал был послан Денису Ивановичу через посредство Екатерины Николаевны Лопухиной, по ее ходатайству.

– Вы знаете, – таинственно сообщала Марья Львовна, – Кутайсов нынче каждый день у Лопухиной. Говорят, он ведет переговоры...

– Правда, он каждый день там, – подтвердила Ан-



на Петровна Оплаклина, привезшая от имени бедной старушки удивительного плетенья кружева Лидии Алексеевне для продажи, – он там, как это говорится, – антрепренер.

– Парламентер, ma tante, – по привычке поправила ее Валерия.

– Ну, да, ну, да, – подхватила Марья Львовна, – все дело уже налажено. Анна уже спит и видит себя у власти всемогущей.

«Ах, не знаете вы ее! – думала Валерия, смотря в небо. – Не знаете, а я знаю все про нее, но это – секрет, и я никому из вас не скажу!»

– Теперь, верно, жениха ей будут искать подходящего, такого, чтобы на все смотрел сквозь пальцы, – продолжала Марья Львовна и глянула на Лидию Алексеевну.

Та слушала довольно спокойно. Известие, что билет ее сыну был доставлен через Лопухину, сначала не показалось ей важным; она была уверена, что ей некого бояться теперь, даже Лопухиной. Она воображала, что Лопухина, возмечтав о себе, просто, чтобы досадить ей, Лидий Алексеевне, хочет возмутить против нее сына. Так она объяснила себе поведение Лопухиной. Слишком себялюбивая, она всегда думала прежде всего о себе и считала, что и другие тоже думают только о ней.

Но вдруг намек, сделанный Марьей Львовной, словно открыл ей глаза.

«Так вот оно что! Жениха искать подходящего! Да, да, конечно, такой дурак – подходящий!» – сообразила Лидия Алексеевна.

И снова туча надвинулась на нее. Ведь если это – правда, то верх будет не на ее стороне. Пожалуй, Дениса успеют отстоять.

Одно оставалось утешение: успеют ли?

Лишь бы государь сказал свое слово, а там при помощи денег в опеке можно будет скоро повернуть.

«Нет, не успеют, – решила Лидия Алексеевна, – мы предупредили вовремя, а потом пусть делают, что хотят!»

– Что же кружева-то, Лидия Алексеевна? – спросила Анна Петровна, не рассчитав, что это было совсем некстати.

– Какие кружева? – очнувшись от своих соображений, переспросила Лидия Алексеевна. – Ах, оставьте меня, пожалуйста! – недовольно проговорила она, вспомнив. – Никаких кружев мне не надо, и покупать их я не буду...

– Как же так? Отчего же? – растерянно произнесла Оплаксина, так как Лидия Алексеевна только что смотрела кружева, и по всему казалось, что она их купит.

– Вы не знаете, когда уезжает государь? – обратилась Радович к Марье Львовне. – Отъезд его не отложен?

– Нет, – ответила та, – кажется, как сказано, шестнадцатого.

– Ну, тогда ничего! – вслух подумала Лидия Алексеевна.

– Что такое «ничего»? – сунулась Анна Петровна, опять, разумеется, не вовремя.

– Ничего и ничего! – сухо отрезала ей Радович.

Анна Петровна окончательно смутилась и раскисла.

Марья Львовна, которой не сиделось на месте с полученными деньгами и которая оставалась лишь для приличия, чтобы не сразу уехать после того, как получила их, найдя, должно быть, что побыла достаточно и что все уже сказано ею, поднялась и стала прощаться.

Лидия Алексеевна тоже поднялась, а за нею и Оплакрина с племянницей. Радович, чтобы спроводить их вместе с Марьей Львовной, пошла провожать ту до лестницы, и волей-неволей Анна Петровна с Валерией последовали за ними.

На лестнице остановились, как всегда, и тут начался еще разговор о том, что последние моды, пришедшие из Парижа, «совсем в обтяжку», так что даже

неприлично.

Вдруг наружная дверь внизу отворилась и хлопнула так, что даже вытянувшиеся навстречу господам лакеи вздрогнули.

– Что такое? – строго спросила Лидия Алексеевна.

– Курьер из дворца с пакетом, – слышался бра-  
вый басистый голос.

– Ко мне?

– Господину коллежскому секретарю Денису Радо-  
вичу, – громко отчеканил курьер.

Марья Львовна посмотрела выразительно на Ли-  
дию Алексеевну и расплылась в улыбку, как бы ска-  
зала: «Поздравляю».

## XIII

Денис Иванович с утра сидел у себя наверху и не поехал в сенат, а послал туда сказать, что ему нездоровится.

Вчера он еще мог взять себя в руки и отправиться на службу, но сегодня слишком много новых мыслей нахлынуло на него и слишком сложный вопрос приходилось решать ему, чтобы показываться в таком состоянии на людях. Ему нужно было уединение, ему хотелось остаться одному, самому с собою, пока не придет он к какому-нибудь выводу. Но, чем больше думал он, тем больше усложнялось все, как заколдованный клубок, который путается сильнее по мере того, как пытаешься размотать его.

Будь тут дело в одном только управляющем Зиновии Яковлевиче, – Денис Иванович не сомневался бы ни в чем. Но тут была замешана мать.

Прежде всего, он считал нужным относиться к ней так, как относился до сих пор, из уважения к самому себе, к своему роду, к своему имени. Он не считал себя вправе разбирать, какова она. Для него она была матерью, и этого казалось достаточно, чтобы никто не смел подумать о ней дурно, а тем более – сам он. Он не позволил бы никому судить ее и не судил сам. Этот

вопрос был для него вопросом чести, и колебаний он не допускал.

Все это было, однако, хорошо и во всяком случае цельно, и он жил, руководствуясь этим, до тридцати четырех лет, пока дело касалось его самого. Но теперь он увидел, что не один он являлся страдающим лицом. Он жил и терпел. Вместе с ним терпели и другие... И был еще один пострадавший, который был близок ему так же, как и мать.

## XIV

Государь с утра уезжал на маневры и возвращался во дворец к вечеру.

К этому времени собирались сюда все имевшие доступ к приему и для представления. Большой зал был полон народом.

Бледный, затерянный среди блестящей толпы сановников, боясь, как бы не сделать какой-нибудь промах, Денис Иванович жался к стене, чтобы дать другим дорогу.

Стоял сдержанный, деловитый и почтительный гул. Ждали уже долго, но, видимо, никто не сетовал на это, не выражал нетерпения, и всякий был согласен ждать, сколько нужно, вполне довольный этим. Несколько раз поднималась тревога, весь зал вдруг, как муравейник, приходил в движение, но тревога оказывалась ложной, и все снова принимались терпеливо ждать.

Наконец, в дверях показался кто-то, сделал знак. Церемониймейстер, до сих пор сливавшийся с толпою, вдруг выделился и стал распоряжаться, выравнивая всех в ряд, потянувшийся вереницей вокруг всего зала.

– Как фамилия? – на ходу спросил он Дениса Ива-

новича и строго оглядел его.

– Коллежский секретарь Радович, – ответил тот, как ученик на перекличке.

– Вы по личному приказанию?

– Не знаю, вот бумага, – и Радович показал бумагу, полученную им сегодня утром через курьера.

Церемониймейстер взглянул, вдруг стал любезнее и вежливо произнес: «Пройдите сюда, вот тут», – почему-то перевел на несколько шагов Дениса Ивановича.

Глаза всех были уставлены на дверь. Все подтянулись, откашлялись, оправались и замерли. Казалось, сию минуту отворится дверь, и весь этот съезд, все эти волнения, приготовления и ожидание получат смысл, и станет явным, зачем все это нужно. Но минута прошла, дверь не отворилась, и еще долго стояли в ряду и ждали, напрягая свое внимание и силясь сосредоточиться. Чуть кто осмеливался заговаривать, сейчас же раздавалось внушительное «ш-ш-ш» – и снова воцарялась почтительная, напряженная тишина.

Радовичу казалось, что он, не спуская взора, смотрит на дверь, чтобы не пропустить появления государя, но, как это случилось, он не знал, а все-таки пропустил. Государь был уже в зале, когда увидел его Денис Иванович.



Держась необыкновенно прямо, Павел Петрович медленно подвигался, переходя от одного к другому из представлявшихся. Пред иными он останавливался несколько дольше, делал вопросы и часто, выслушав только первые слова ответа, шел вперед. Мало-помалу все ближе и ближе он становился к Радовичу, и тот чувствовал, словно от соседа к соседу передавался электрический ток по мере приближения государя. Вот между ними всего трое, два, еще – и Денис Иванович как бы оказался один на один с императором. Во всем зале он уже никого и ничего не видел, кроме Павла Петровича, бывшего пред ним и глянувшего необыкновенно добрыми глазами прямо в глаза ему.

– Фамилия? – услышал Денис Иванович и ответил:

– Коллежский секретарь Радович, – не узнав своего голоса, точно не он, а кто-то другой назвал его.

Государь прошел мимо. Радович увидел его спину с отделившейся косичкой парика и затем море голов, лиц и плеч. Все спуталось и смешалось.

«И только-то? Зачем же меня звали?» – разочарованно и как-то тоскливо отозвалось в душе Дениса Ивановича.

Он решительно не знал, что же ему делать теперь, очутившись в следовавшей за государем толпе, увеличивавшейся по мере того, как шел он. Кто-то толк-

нул его, другой задел шпагой; он хотел посторониться и сам толкнул, но на это не обращали внимания.

Денис Иванович по своему небольшому чину стоял из последних... Он силился подняться на цыпочки, чтобы поверх толпы взглянуть еще раз на государя, и поворачивал голову в ту сторону, куда ворочались остальные, но увидел только верх двери, как растворилась она и опять затворилась.

По залу сейчас же пошел раскат говора.

– Что он сказал? А? Что? Кого?.. Радович? Кто Радович, Радович, Радович, Радович...

И сотни голосов и уст повторили имя Дениса Ивановича.

Он больше по чутью, инстинктивно потянулся к двери и как-то общими усилиями произвольно очутился возле нее.

– Вы – Радович? – близко у его лица спросил церемониймейстер.

В это время из двери высунулась курчавая пудренная голова и тоже произнесла:

– Радович!

Дениса Ивановича как будто воздухом втянуло в дверь.

В гостиной, куда он попал, было прохладнее и темнее, чем в зале, и хотя она была гораздо меньше зала, но казалась просторнее, потому что была пуста. Кур-

чавый пудренный Кутайсов, которого видел Радович на балу и узнал теперь, показал ему рукою следовать за ним и повел. Они миновали еще комнату и вошли в кабинет. Кутайсов остался за дверью.

Государь ходил по комнате и, повернувшись, приблизился к Денису Ивановичу. Глаза его теперь были строги, но лицо улыбалось.

– Вы, сударь, я слышал, – якобинец? – проговорил он, отчетливо отделяя каждый слог каждого слова.

Денис Иванович почувствовал, как словно что вспыхнуло у него в груди и затрепетало.

– Ваше Величество, – вырвалось у него, – я – верноподданный моего государя и песчинка того народа, который любит и чтит его.

– Вы – дворянин?

– Пред русским царем нет ни дворян, ни крестьян, никого; все – один народ русский!

Глаза Павла Петровича вдруг прояснились. Он близко подошел и, взяв за отворот мундира Радовича, как бы с удивлением, пораженный, спросил:

– Ты понимаешь это?

– Я это чувствую вместе с миллионами русских людей, Ваше Величество.

– А там они не чувствуют и не понимают этого, – кивнул головой Павел I в сторону зала и, опустив руки, снова стал ходить по комнате. – Не понимают, –

повторил он, как бы рассуждая сам с собою, – они кичатся своим дворянством и просят подачек, не понимают, что санкюлоты не против короля пошли, а против них и вместе с ними, из-за них погубили короля. А вот им пример – Кутайсов. Кто он был? А я захотел и дал ему и дворянство, и титул. А они не понимают, что это – пример им... Я свел уже барщину для крестьян на три дня и дал им праздничный отдых. – Государь остановился и опять подошел к Радовичу. – Я слышал, сударь, – сказал он, круто обрывая свою речь, – о вас хорошие отзывы, а между тем ваша матушка иного мнения. Она жалуется на вас... Я ее видел вчера. Она говорит, что вы даже слуг возмутили против нее. Чем объясните это?

Денис Иванович хотел говорить, но запнулся и задохнулся от нахлынувших слов, которые просились наружу. Он слишком многое хотел сказать сразу, чтобы иметь возможность сказать что-нибудь. И, не зная, с чего начать, а вместе с тем чувствуя, что многословие ничему не поможет и ничего не объяснит, он желал одним бы словом передать все, что происходило в нем вчера и сегодня. Но это было, разумеется, невозможно, и пришлось говорить.

И вот – словно им руководила внешняя, посторонняя сила, хотя эта внешняя, посторонняя сила была в нем самом, – он заговорил то, что как бы само собою

вышло у него:

– Ваше Величество! Сегодня, тринадцатого мая, тридцать четвертая годовщина смерти моего отца. Тридцать четыре года тому назад – я тогда только что родился – он приехал по делам из деревни сюда, в Москву, с управляющим и лакеем. Они остановились в нашем доме. Отец не захотел отворять большие комнаты и поместился в мезонине, наверху. Здесь его нашли мертвым, и было решено, что он умер скоропостижно, ночью. Такое свидетельство было выдано врачом.

Павел Петрович повернул у стола кресло с высокою спинкой так, что яркая карсельская лампа, горевшая на столе, осталась сзади, опустился в кресло и, облокотившись на руку, наклонил голову, скрыв лицо.

– Продолжай! – сказал он.

– Что произошло в эту ночь в комнате, – продолжал Радович, – видели, конечно, одни только стены. Они лишь остались свидетелями, но они остались. Комната была заперта, и в нее никто не входил в продолжение многих лет. Весь мезонин у нас был необитаем. Впоследствии, когда я вышел из опеки, я переселился в этот мезонин и занял две смежные комнаты с запертою. Никто не знал, что я сделал ключ и отпер эту комнату. Я прибрал ее, очистил пыль, привел ее в порядок, но тщательно сохранил в ней все, как было.

Я стал изучать ее. Осторожно, из расспросов старых слуг, узнал я, какое было одеяло у отца, какая постель и какие вещи, и все потихоньку возобновил, даже дорожную шкатулку отца поставил на место, как могла она стоять при нем. Вместе с тем я внимательно оглядел все. Над постелью на стене, на бумажках, которыми она была обита, я заметил царапины и изъязны, как бы следы борьбы. Это было первым указанием, подтверждавшим то, что смутно чувствовалось мною. Но это указание долгие годы оставалось единственным. Я искал доктора, выдавшего свидетельство, и не мог найти его. Я наблюдал за управляющим и лакеем, который был сделан дворецким, и не мог заметить в них ничего подозрительного. Они держали себя с замечательной выдержкой и самообладанием. Странно было только, что комната была заперта наверху и ее боялись и что лакей, бывший с управляющим при отце в Москве, попал в дворецкие. Управляющий завладел всем домом и стал полным хозяином. Ребенком меня заставляли целовать его руку...

– Довольно, дальше! – перебил государь.

– Дальше? Потеряв всякую надежду найти какие-нибудь новые факты, я решил как-нибудь случайно, ночью, при свете лампадки ввести в возобновленную мною комнату управляющего вместе с лакеем и посмотреть, какое на них произведет это впечатле-

ние. Нужно это было сделать неожиданно, а для этого необходим был случай. Я стал ждать. И вот третьего дня случилось все как бы само собою... Видит бог, государь, я был почтительным и покорным сыном. Моя мать управляла домом, ей угодно было, чтобы распоряжался всем управляющий, – я не препятствовал. Я жил в своем мезонине и целые дни проводил либо в сенате, на службе, либо за книгами, дома... Третьего дня произошло у меня первое и единственное столкновение с управляющим из-за того, что я узнал, что он хотел наказать без вины человека. Столкновение было при матери. Он был поражен, удивлен и сильно обеспокоен происшедшей во мне переменой, то есть тем, что я, тихий, робкий и глупый, каким я казался им, заговорил. Когда я поднялся к себе наверх, какой-то голос стал шептать мне, что они придут, придут ночью за мною. Было ли это предчувствие, откровение – не знаю, но только я почему-то не сомневался в этом. Я отворил отцовскую комнату, затеплил в ней лампадку и лег в постель. Мне казалось, что именно так надо было поступить. И они пришли. Впечатление, произведенное на них обстановкой, сейчас же выдало их: управляющий уронил свечу и бросился прочь, а лакей остался в перепуге и сознался во всем. Весь ужас теперь для меня в том, что я не знаю, что известно моей матери о смерти отца и каково ее участие в этом деле.

Павел Петрович в продолжение рассказа несколько раз утирал лоб платком.

– И не смей узнавать, не смей разбирать! – проговорил он вдруг, когда Радович сказал о матери. – Не тебе судить ее. Не твое дело. Это – дело Божье. Ты тут – не следователь и не судья. Если тебе откроется – хорошо, а нет – сам не старайся... Терпеть надо, терпеть. Ты – сын и терпи. Знаю, в одном доме – тяжело. Все оставь ей, все! Оставь дом, – тебе будет, чем прожить. Я возьму тебя к себе в Гатчину. – Государь замолчал и задумался. – Не в Гатчину уже, а в Петербург, – поправил он медленно после некоторого молчания и вздохнул. – Завтра же сделаю о тебе распоряжение, поезжай!.. В Петербурге увидимся... А теперь ступай, ступай! – показал Павел Петрович на дверь.

Словно в чад, вышел Радович из кабинета государя и вернулся в зал.

Толпа там сильно поредела, но все-таки еще осталось много народа, как будто занятого разговором, а на самом деле каждый тут в тайнике души надеялся, а не позовут ли его вдруг в кабинет на отдельную аудиенцию. Все, дескать, может случиться.

Один отставной генерал-поручик Вавилов, также представлявшийся сегодня в числе прочих в своем екатерининском мундире, с которым был отставлен и



при виде которого поморщился государь и прошел мимо Вавилова, не остановившись, – не ждал, что его позовут, но оставался, чтобы увидеть Дениса Ивановича, когда тот выйдет из кабинета. Он счел своею обязанностью сделать это, то есть опекуnder молодого человека, в доме матери которого он бывал запросто.

– Прекрасно, прекрасно! – пробасил он, встретив Радовича. – Ну, что... прекрасно?..

– Назначен в Петербург, перевозжусь, – выговорил Денис Иванович, захваченный врасплох, сам не зная, как вырвались у него слова.

– Прекрасно! – одобрил Вавилов и хотел было послушать дальше рассказ Дениса Ивановича, но тому пришло сейчас же в голову, что какое дело до него генерал-поручику и остальным и что не надо нарушать какими бы то ни было рассказами то благостное, возвышенное впечатление, которое произвел на него разговор с государем, и он, откланявшись Вавилову, пошел к выходу.

Однако Радович не скоро еще добрался до него. Его останавливали на каждом шагу, пожимали руку, напоминали о своем знакомстве с ним, и даже старики забегали вперед его, дружелюбно кивали ему и заговаривали с ним.

Вавилов прямо с представления, как был в парадном мундире, отправился к Марье Львовне Куросле-

повой, которая, чтобы истратить часть взятых взаймы у Радович денег, давала сегодня вечер и взяла с генерал-поручика слово, что он приедет к ней прямо из дворца.

– Ну, батюшка, рассказывайте, садитесь и рассказывайте! – встретила его Марья Львовна. – Ну, что было?

Генерал-поручик расселся важно в креслах и сказал:

– Прекрасно!..

– Да вы рассказывайте, батюшка, что же прекрасного-то?

И сама Курослепова, и все ее гости жаждали, разумеется, поскорее узнать, что происходило на приеме. Около Вавилова все составили круг и приготовились слушать в молчании.

– Прекрасно, это того... знаете... прекрасно... вообще... так сказать... прекрасно, и все, – рассказывал Вавилов, размахами руки стараясь помочь себе и воображая, что красноречив и образен, как оратор в английском парламенте.

– Ну, государь-то что?

– Э-э-э... и государь... тоже... прекрасно...

– Говорил с вами?

– Вообще... того... прекрасно!

– Много народа было?

– Прекрасно... Денис Радович того...

– Что Денис Радович? И он был?

– О, да!.. Прекрасно!..

– Что ж он?

– Того... в Петербург... прекрасно...

– Денис Радович получает назначение в Петербург! – воскликнула Марья Львовна. – Вот так новость! Да не может быть!

– Отчего же... того... прекрасно! – возразил Вавилов.

– Ну, ловко Екатерина Лопухина дела ведет! – всплеснула руками Курослепова.

У нее были только свои, то есть принадлежащие к старой, екатерининской, «недовольной» партии, и потому она не стеснялась.

– А почему же Екатерина Лопухина? Она тут при чем относительно Радовича? – стали спрашивать кругом.

– А она... того... прекрасно, – стал было объяснять Вавилов, чувствовавший себя, так сказать, на трибуне и потому считавший, что должен отвечать на всякие вопросы, хотя и сам тоже не знал, при чем тут была Екатерина Лопухина.

Марья Львовна перевила его и объяснила, в чем, по ее мнению, заключалась суть дела.

А на другой день бывшие у нее гости разносили по

всей Москве известие, почему «идиот» Радович получает блестящее и неожиданное назначение в Петербург.

Майор Бубнов и штабс-капитан Ваницкий, списывавшие стишки в альбомы и ведшие дневники, записали этот «неопровержимый» факт и, искренне веря ему, засвидетельствовали о нем, как современники, пред потомством.

## XV

На другой день в сенате Радовича призвал к себе Петр Васильевич Лопухин и объявил ему, что он пожалован в камер-юнкеры, переводится в Петербург за обер-прокурорский стол и, кроме того, ему назначено по три тысячи ежегодно за службу его отца при покойном государе Петре III. Распоряжение объявить о том Радовичу Петр Васильевич получил лично от императора на утреннем докладе. Он поздравил Дениса Ивановича и потом добавил:

– Кстати, жена о вас спрашивала; приезжайте к ней сегодня.

«Отчего мне и не поехать?» – подумал Денис Иванович, выходя из сената и вспоминая, что в первое посещение у Лопухиных ему было не только очень приятно, но даже что-то очень хорошо.

И он поехал.

Екатерина Николаевна сидела в гостиной и разговаривала с Кутайсовым, когда явился Радович. Она очень мило приняла Дениса Ивановича, Кутайсов тоже очень любезно раскланялся с ним.

«Вот Кутайсов – это пример им!» – вспомнил Радович и улыбнулся.

– Веселитесь, веселитесь, молодой человек, –

одобрил его Кутайсов, – вам прилично теперь быть веселым.

– Поздравляю вас с царскою милостью, – сказала Лопухина, уже знавшая от Кутайсова о назначении Радовича. – Ну, идите в сад, – обернулась она к Денису Ивановичу. – Там Анна Петровна с молодежью. Вам там будет веселее... Идите! – и, кивнув головою, она отпустила Радовича в сад, как будто он был маленький, порученный ей, баловливый ребенок. – Ну, право же, он – вполне подходящий для нас человек! – сказала она Кутайсову, когда Денис Иванович ушел.

– Может быть. Я поэтому сделал для него все, что мог! – скромно заявил Кутайсов, пожав плечами, как будто Радович был ему обязан царскою милостью.

– Благодарим вас, – с чувством сказала Лопухина.

– Все, что от меня зависит, я сделаю, – продолжал Кутайсов. – Третьего дня я прямо сказал государю... Он мне заметил, что народ в Москве более любит его, чем петербургский, а я вставил, что это меня не удивляет. «Почему же?» – спросил он. «Не смею сказать...» – Кутайсов запнулся, но сейчас стал рассказывать дальше: – «Но я тебе приказываю», – сказал мне государь. Он так и сказал: «Я тебе приказываю...» – «Ваше Величество, обещайте, что вы не передадите никому, что я скажу». – «Обещаю». – «Ваше Величество, – заговорил я, – дело в том, что здесь вас

видят таким, каким вы изволите быть в действительности, – благим, великодушным и чувствительным, а в Петербурге, если вы оказываете милость, все говорят, что Ее Величество, или госпожа Нелидова, или Куракины выпросили ее, так что, когда вы делаете добро, то это – они; если же кого покарают, то это вы караете». Государь сейчас сдвинул брови и спросил меня: «Значит, говорят, что я даю управлять собою?» – «Так точно, государь». – «Ну, хорошо же, я покажу, как управлять мною». Ну, вы знаете государя, – он в гневе подошел к столу и хотел писать, я бросился к его ногам и умолил на время сдержаться.

Из всего этого было правдою только то, что «государь подошел к столу», но Кутайсов так долго готовил в своем воображении эту сцену, что не мог отказать себе в удовольствии пережить ее хотя в рассказе.

А Екатерина Николаевна слушала и радовалась, что их дело находится в опытных, хитрых и сильных руках.

Денис Иванович нашел в саду Анну, Валерию, ее тетку и молодого офицера, князя Павла Гавриловича Гагарина. Оплаксина сидела на скамейке, а молодые люди ходили взад и вперед по аллее.

Радович присоединился к ним. Сначала они прогуливались вчетвером, разговаривая все вместе, но мало-помалу Анна с Гагариным отстали, и Денис Ивано-

вич остался с Валерией. Они шли некоторое время рядом, молча.

– Скажите мне, Денис Иванович, – спросила Валерия, – у вас есть враги?

Не было ничего удивительного, что она спросила его, потому что разговоры на отвлеченные, чувствительные темы были тогда особенно в моде; но Радовича поразил ее вопрос. Последний слишком разительно подходил к его настроению и к его мыслям, охватывавшим его. Он был согласен на то, чтобы «терпеть», как приказывал ему государь вчера, но не знал и не мог решить, как это сделать относительно внутреннего своего «я».

– Да, у меня есть враги, или, вернее, один враг, – ответил он.

– Неужели?

– Вас это удивляет? Отчего?

– Потому что вы мне кажетесь таким добрым, таким добрым, что другого я, кажется, не знаю.

– Благодарю вас за хорошее мнение!

– Ах, это – не мнение и не просто так, а я от всей души, искренне!

Валерия не глядела теперь на небо, а глаза ее были устремлены на него, Дениса Ивановича.

И вдруг ему стало как будто очень весело идти так с нею рядом и разговаривать.



Как ни странно это было, но он впервые в жизни был один на один не только с девушкой, но вообще с существом женского пола. И ему это было и смешно и вместе с тем боязно, но все-таки как будто весело.

– Позвольте мне спросить у вас, – начал он, походя, – отчего вы задали мне именно этот вопрос?

– Про врагов?

– Да.

– А вот почему. Вы мне показались сегодня как будто грустны, озабочены чем-то или задумчивы. Ну, я и думаю, что, если вас может что-нибудь заботить или тревожить, так это... как бы вам сказать? – если вы не можете всех любить, а остальное все для вас ясно и об остальном вы не печалитесь... Мне кажется, вы – такой человек...

«Да, я – такой человек!» – мысленно согласился Денис Иванович, удивляясь, что Валерия разгадала его и понимает его совсем так, как и он себя понимает.

Он был уверен, – не будь Зиновия Яковлевича, все бы было ясно в его жизни!

– Конечно, не вы ему, а он вам сделал зло, – продолжала Валерия. – Он должен быть очень злой человек...

«Рассказать разве ей все?» – мелькнуло у Дениса Ивановича.

– Я вас не допытываю и вовсе не хочу выведать

вашу тайну, – пояснила Валерия.

«Нет, нельзя рассказывать, неловко», – подумал сейчас же Радович и спросил:

– Ведь мы говорим вообще?

– Да, вообще!

«Ну, конечно, неловко!» – решил он.

– Я хочу только сказать, – опять продолжала Валерия, – что если вам сделали зло, то это легко уничтожить, и так, что будет совсем, как не было.

– Как же это?

– Простить.

– Хорошо. Я могу простить, если зло сделано только мне. Ну а если не мне одному, а другому еще?

– Пусть и он простит.

– Ну а если он умер и я остался тут и за него, и за себя?

– Тогда все-таки все зависит от вас. Тот, который пострадал, как вы говорите, – пострадал невинно и умер?

– Да.

– Значит, он на небесах. – Валерия рассуждала с такой убежденностью, точно ей была дана исключительная привилегия знать и объяснять, что делается на небесах. – А если он на небесах, – поспешила она сделать вывод, и голос ее зазвучал торжественно, – то он, наверное, простил, потому что там все

добрые. Вы не беспокойтесь... Вы только о себе постарайтесь... постарайтесь простить, примириться...

– Если бы это легко было! – вздохнул Денис Иванович.

– Тогда не было бы заслуги с вашей стороны.

– А для чего мне эта заслуга?

– Как для чего? Чтобы сделать добрым того злого, вашего врага... Если вы примиритесь с ним, то и он не будет питать против вас злобы и станет добрым.

Денис Иванович испытывал странное ощущение, точно у него по мере того, как говорила Валерия, вырастали крыла, и он, отделяясь от земли, поднимался на воздух. Он не соображал, что в этом воздухе стояла весна, и он, дыша этим воздухом, гулял впервые в жизни с девушкой, да еще перезрелой и не только желавшей понравиться вообще мужчине, но понравиться именно ему, Денису Ивановичу.

«Да, она права, она права, – повторял он себе, – и как хорошо говорит она!»

Екатерина Николаевна, проводив Кутайсова и выйдя на террасу, чтобы спуститься в сад, очень удивилась, увидев Дениса Ивановича в паре с Валерией, гуляющим по дорожке, и Оплакнину, которая сидела на скамейке и дремала. Анны и Гагарина не было.

Екатерина Николаевна осторожно сошла с террасы и, обогнув кусты сирени, направилась, крадучись, по

боковой аллее, закрытой кустами. Она дошла почти до самого пруда, где был островок со скамейкой, обсаженной, как беседкой, акацией. Там, за этой акацией, она услышала голоса.

– Что бы ни было, – сказал голос Анны, – клянусь тебе, что я твоя и никому другому принадлежать не буду.

Екатерина Николаевна остановилась, как будто у ее ног неожиданно разверзлась пропасть, в которую боялась упасть она. Она сейчас же сообразила, что, если сделать еще шаг и застать Анну с молодым князем наедине, – не избежать огласки, потому что близко посторонние. Огласка же может испортить, разрушить весь задуманный план и погубить все дело. Придется сейчас же выгнать вон этого офицера, которого Екатерина Николаевна «проглядела», не заметив, что между ним и Анной было какое-нибудь чувство. К тому же она знала Анну и то, что с нею нужно было действовать осторожно, так как иначе она, дочь, была способна на безумную, пожалуй, выходку. Поэтому Екатерина Николаевна тише и осторожнее, чем подкралась, отошла подальше и подала голос, как будто ища все общество и не находя его. Затем она снова обогнула сирень, и, в то время как выходила на дорожку, с другой стороны показались Анна с Гагариным.

– Что вы тут делали, чем занимались? – спросила Екатерина Николаевна, подходя к Оплаксихной, возле которой были уже обе молодые пары.

– Да ничего, все тут сидели, разговаривали, – ответила Анна Петровна, только что проснувшаяся и испугавшаяся, что ее уличат в этом. – Так как же, Екатерина Николаевна, вы берете кружево? – пристала она к Лопухиной, идя в дом рядом с нею.

Она привезла кружево, которое не удалось ей продать вчера Радович.

Екатерина Николаевна рассчитывала в это время, вспомнив букву и точки, которые видела с Кутайсовым, сколько букв в фамилии Гагарина? «Семь», – сосчитала она и убедилась, что «Г» с точками значило вовсе не «государь», как с апломбом, не обинюясь, объяснила она Кутайсову, а «Гагарин».

– Так как же кружево-то, Екатерина Николаевна? – не унималась Оплаксихна.

– Ах, Анна Петровна! Я сказала вам, что беру, и возьму, – успокоила ее Лопухина. – Не беспокойтесь?

– Да ведь пуганая ворона на молоко дуется. Вот вчера тоже Лидия Алексеевна хотела взять, а потом назад, – деловито рассуждала Оплаксихна, конечно, перепутав пословицы.

Но Екатерина Николаевна уже не слушала ее.

«Залетела ворона не в свои хоромы, – думала она

про Гагарина. – Нет, дружок, тут тебя не надо, и мы с тобой справимся!»

## XVI

На утро шестнадцатого мая был назначен отъезд императора из Москвы. Экипажи были поданы. Весь генералитет и весь штаб и обер-офицеры московского гарнизона толпились у подъезда дворца.

На верхней площадке крыльца ходил человек с портфелем под мышкою, погруженный в задумчивость. Это был статс-секретарь Его Величества Петр Алексеевич Обрезков. Он сопровождал государю и должен был сидеть в карете возле царя и докладывать ему дела, в производстве состоящие.

– Отчего он такой мрачный? – спрашивали внизу, глядя на Обрезкова. – Смотрите, глаза у него сверкают, как у волка в ночное время.

– Весьма понятно! – заявил юркий адъютантик при главнокомандующем фельдмаршале Салтыков, считая себя обязанным по «своему положению» все знать.

– Отчего же понятно? – строго проговорил один из армейских генералов, чувствовавший некоторую зависть к адъютантику, которому действительно, вероятно, известно было больше, чем ему, генералу.

– Да, прекрасно! – пробасил бывший тут же Вавилон.

– Как же, – стал объяснять адъютантик, довольный тем, что он вот говорит, а генералы его слушают. – Ведь «негоциатор» отправился сейчас к Лопухиным за решительным ответом.

– Какой негоциатор?

– Да Кутайсов же, – укоризненно ответил уже генерал, как бы даже удивленный, что спросивший не знает таких простых вещей.

– Прекрасно! – одобрил Вавилов.

– Ну, решительный ответ Лопухиных и тревожит спокойствие души господина Обрезкова, – продолжал адъютант. – А что, если негоциатор привезет не «да», а «нет»? Ведь тогда ему докладывать дела разгневанному отказом государю – все равно, что идти по ножевому лезвию.

– А разве Кутайсов поехал к Лопухиным?

– Да, я сам слышал, как он приказал кучеру ехать туда, – сказал адъютантик.

Он действительно слышал, как Кутайсов, выйдя и сев в карету, приказал ехать к Лопухиным. Но все дальнейшие выводы, вплоть до осведомленности о состоянии души Обрезкова, были, разумеется, плодом его собственного воображения.

Кутайсов действительно, воспользовавшись тем, что государь был занят с фельдмаршалом Салтыковым, отправился к Лопухиным потому, что получил от



Екатерины Николаевны записку, что ей во что бы то ни стало нужно видеть его пред отъездом. Государь и не знал, куда поехал его гардеробмейстер.

Пока еще говорил адъютантик, к крыльцу подскакала карета. Кутайсов выскочил из нее, быстро поднялся по ступенькам на верхнюю площадку и громко сказал Обрезкову:

– Все уладил, наша взяла!..

Император вышел, продолжая разговор с Салтыковым, и, пред тем как сесть в карету, обнял его и сказал:

– Иван Петрович, я совершенно вами доволен. Благодарю вас и не забуду вашей службы и усердия.

За государем сел в карету Обрезков, и поскакали...

Ясно было, что император, довольный произведенными маневрами, все время до кареты разговаривал на прощанье с главнокомандующим, и ни Кутайсов, ни какой иной «негоциатор» не имел времени делать ему таинственные доклады о «да» или «нет», но на канве, сымпровизированной в рассказе адъютантика, Москва сейчас же стала вышивать различные хитрые и путаные узоры.

«При всех дворах, – пишет один из наблюдательных современников того общества, – есть известный разряд людей, безнравственность коих столь же велика, сколько опасна. Эти низкие натуры питают недо-

лимую ненависть ко всем, не разделяющим их образа мыслей. Понятие о добродетели они не могут иметь, потому что оно связано с понятием об уважении к закону, столь страшному для них. Сильные своею злобою, они считают коварство за ум, дерзость в преступлении – за мужество, презрение ко всему на свете – за умственное превосходство. Опираясь на эти воображаемые достоинства, они, вопреки своему ничтожеству, добиваются званий, которые должны были бы служить наградой истинных заслуг государству. Вокруг Павла сошлось несколько подобного закала господ, выдвинувшихся еще в предыдущее царствование. Они сблизились без взаимного уважения, разгадали друг друга, не объясняясь, и стали общими силами работать над устранением людей, которые явились им помехою».

Только после отъезда государя всколыхнулась Москва по-настоящему, как потревоженный пчелиный улей, и загудела уже всю теми сплетнями и пересудами, которые во время пребывания Павла Петровича лишь намечались словоохотливостью какой-нибудь Марьи Львовны или самодовольною хвастливостью всезнания какого-нибудь адъютантика.

Лидия Алексеевна оставалась некоторое время в стороне от этого жужжания, потому что заболела, слегла и никого не видела. У нее разлилась желчь. Ее

сажали в горячую ванну и тем только отходили. Припадок желчной колики прошел у нее, опасность миновала, но ей было предписано полное спокойствие. Дениса Ивановича к матери не пускали. Никто, кроме Зиновия Яковлевича, не имел к ней доступа.

Денис Иванович в сенате сдавал теперь дела, готовясь к переезду в Петербург, согласно новому своему назначению. Работы у него было меньше, потому что он был занят главным образом тем, что знакомил с делами своего заместителя, назначенного на его должность.

Дома он отправлялся прямо к себе наверх и оставался там, даже не спускаясь в сад на прогулку, а довольствуясь для этого своею вышкой, по маленькому пространству которой он ходил теперь особенно много. Он ходил, беспрестанно поворачиваясь, и в мыслях у него вертелось постоянно одно и то же: «Терпеть и простить. Простить и терпеть».

«Каждому человеку дано свое испытание, каждому положен свой крест, – думал Денис Иванович, – и мое испытание, мой крест – терпеть и простить! Много горя на земле, но одно и то же горе для каждой души будет различно по форме, как вода, принимающая форму сосуда, в который она налита. Кто таит и помнит в себе зло, тот поступает несправедливо. И Христос, научивший нас прощать, открыл нам в прощении одно

из божественных свойств и дал возможность этим путем приблизиться к себе людям!»

Денис Иванович однажды вошел к себе в комнату, приблизился к столу и открыл толстую, лежавшую у него на столе книгу Четьи-Минеи, открыл наугад, где откроется. Не раз случалось ему загадывать так, и всегда его поражало, что открывшееся место сходилось с его душевным настроением.

«Рассказывал Исаак чернец, – стал читать он с того места, куда случайно глянул. – Была у меня некогда распря с братом, и затаил я против него гнев. Во время работы опомнился я и скорбел, что допустил соблазн в себе. Вывалилась работа из рук, и целый день не знал я, что делать. Тогда вошел в дверь ко мне юноша и, не сотворив молитвы, сказал: “Соблазнился ты, но доверься мне, я исправлю тебя”. Я же отвечал ему: “Уйди отсюда и не приходи никогда, потому что ты не от Бога”. И сказал мне: “Жаль мне тебя – ты губишь работу, а меж тем мой уж ты!” Я же ответил ему опять: “Божий я, а не твой, дьявол!” И сказал мне: “По справедливости дал нам Бог держащих гнев и злопамятных. Ты же три недели продолжаешь гневаться”. Я же сказал ему: “Лжешь”, – а он мне опять: “Распаленная гиена не имеет памяти. У тебя зло к нему. Я же к помнящим зло приставлен, и ты уже мой”. Когда я услышал это, пошел к брату и поклонился ему во имя

любви, вернувшись, нашел сожженными работу свою и рогожницу, на которой поклоны клал».

Денис Иванович закрыл книгу. После этого он еще долго ходил по вышке, наконец решительно остановился, пошел к лестнице и спустился не торопясь...

Лакеи вскочили и вытянулись при его появлении.

– Зиновий Яковлевич у себя? – спросил Радович.

Лакеи не выдержали и переглянулись между собою.

– У себя, – ответил Адриан, поставленный за старшего после исчезновения дворецкого Якова.

– Поди, доложи, что я хочу видеть их, – и Денис Иванович в собственном доме остался ждать, как проситель на лестнице, пока Адриан ходил докладывать.

– Просят, – сказал Адриан, вернувшись.

Корницкий занимал несколько комнат отдельной квартиры в нижнем этаже дома с ходом на общую парадную лестницу. Денис Иванович давно, ребенком, бывал тут у него и, когда вошел, не узнал комнат. Они казались ему по воспоминаниям гораздо больше, но некоторые вещи он сейчас не узнал: аквариум у окна с золотыми, дорогими рыбками, огромный кусок малахита, лежавший на столе, и подвешенные к люстре часы в виде шара с музыкой, особенно занимавшие его в детстве. В комнате никого не было, но по движению, тяжелой портьеры Денису Ивановичу показа-

лось, что за нею стоит Корницкий, выжидает и смотрит на него потихоньку.

Прошла долгая, тихая минута, пока портьера колыхнулась и вошел Зиновий Яковлевич. Он остановился пред Денисом Ивановичем, закинув голову и дерзко и вызывающе смотря на него. Он не спросил, но вся фигура его говорила:

«Что вам угодно?»

Денис Иванович, чувствуя, что ему неприятно глядеть на этого человека, отвернулся было, но сейчас же заставил себя обратиться к Зиновию Корницкому.

– Я примириться с вами пришел, – проговорил он.

Зиновий Яковлевич быстрым взглядом оглядел его с головы до ног.

– Да. Примириться... совсем, – повторил Денис Иванович, не понимая, что с таким, каков был Корницкий, никак не могла произойти чувствительная сцена примирения. – Я простить пришел.

– Я не просил у вас прощения, – мотнув головою, пожал плечами Зиновий Яковлевич.

– И все-таки я пришел простить. Если вам когда-нибудь нужно это будет, – вспомните, что я вас простил... И отец простил...

У Радовича от умиления стояли слезы в глазах, он махнул рукою, закрыл ею лицо, повернулся и вышел, всхлипнув.

Корницкий поглядел ему вслед и, когда он ушел, громко сказал:

– Вот идиот!

## XVII

Хотя из свидания с Корницким вышло вовсе не то, чего ожидал Денис Иванович, то есть вовсе не произошло того полного примирения, которого он искал, но все-таки он испытывал умиленное, тихое радостное ощущение и ему было очень хорошо.

И это хорошее связывалось с воспоминанием о Валерии. Она была несомненно причастна тут, и Денис Иванович чувствовал это.

Он нарочно отправился к Лопухиным, чтобы встретиться опять с ней, и встретился и, улучив время, успел ей рассказать о том, что по ее совету простил врага своего и что ему, то есть самому Денису, очень легко теперь.

По этому поводу они даже взялись за руки и поглядели в глаза друг другу. Потом Валерия сказала:

– Я не сомневалась в вас. Мне всегда кажется, когда я смотрю в ваши глаза, что я смотрю в небо.

Она была уверена, что прикосновение их «чисто и непорочно», но Денис Иванович, когда взял ее руки, испытал незнакомое ему до сих пор волнение – ему захотелось поцеловать ее руку, но он не осмелился на это.

Дальше Радович зачастил к Лопухиным, где всегда



встречал Валерию, которая аккуратно привозила сюда с собою тетку, уверяя Анну Петровну, что это было необходимо по самым разнообразным причинам. Последние всегда находились у нее, и она в отношении их выказывала необыкновенную изобретательность.

Екатерина Николаевна, прозевавшая увлечение падчерицы Гагариным, не замечала и того, для кого, собственно, ездит к ней Денис Иванович. Она была слишком занята высшими соображениями и планами будущего, не видела, что делается близко возле нее, и поощряла посещения Дениса Ивановича.

Впрочем, едва ли кому-нибудь могло в голову прийти, что Радович предпочтет красавице Анне «старое диво» Оплаксину. Но физическая страстная красота черноволосой Анны не прельщала его; он оставался холоден к ней и с каждым днем находил в Валерии все новые и новые духовные красоты.

Наконец однажды Анна Петровна пригласила его к себе, сказав:

– Не забывайте наш «*potme de terre*»<sup>3</sup>.

– «*Pied-à-terre*»<sup>4</sup>, – поправила ее племянница.

И Денис Иванович был у них, но в четырех стенах маленького домика, занимаемого Оплаксиными, ему было далеко не так свободно, как в большом доме и

---

<sup>3</sup> Яблоко.

<sup>4</sup> Уголок (квартирку).

саду у Лопухиных. Валерия тоже понимала это, и потому они чаще встречались под гостеприимным, кровом Лопухиной.

Однажды, когда Денис Иванович вернулся со службы, ему доложили, что князь Павел Гаврилович Гагарин ждет его и желает видеть.

– Где же он ждет? – спросил Радович, смущенный неожиданностью происшествия не менее лакея, доглядывавшего ему.

Появление князя, который спросил Дениса Ивановича и заявил, что он будет ждать его, показалось всем необычайным в доме, куда до сих пор езжали только к Лидии Алексеевне и где никогда никто не спрашивал «молодого барина».

– Они ждут в большой гостиной, – ответил лакей.

Гостя догадались провести в парадную гостиную, но Денис Иванович не захотел идти туда.

– Просите ко мне наверх, – приказал он и направился к себе.

Гагарин, войдя, отвесил церемонный поклон и, когда Денис Иванович попросил его садиться, сел, не снимая перчаток и держа свою офицерскую шляпу под мышкой.

– Могу я говорить с вами как с дворянином? – откашлявшись, начал он.

– Что ж, – улыбнулся Денис Иванович, светло глядя

на него, – можно и как с дворянином. Только я больше люблю говорить просто, по-человечески.

– Тем лучше, – согласился Гагарин, принимая уже тон, который мог годиться только с человеком недалеким.

О «глупости» Дениса Ивановича он слышал много, потому что о Радовиче говорили теперь все, но сам Гагарин видел его лишь раз у Лопухиных, во время своего свидания с Анной, подсмотренного Екатериной Николаевной, и то мельком, и не мог судить, каков был Денис Иванович. Поэтому он заговорил с ним серьезно.

Однако Радович своим ответом как-то сразу показал свою простоту, и князь решил изменить тон.

– Тогда скажите, – стал прямо спрашивать он, – отчего вы так часто бываете у Лопухиных?

– Оттого, – ответил Денис Иванович опять совсем просто, что мне нравится бывать там.

– Понимаю! Вы хотите этим сказать, что я не имею права требовать у вас отчета и что вы не желаете, чтобы кто-нибудь стеснял вашу свободу действий?

– Да нет же, – перебил Радович, – ничего этого я сказать не хочу, а говорю прямо, что есть. Мне, право, очень нравится бывать там.

«Да он совсем глуп», – подумал Гагарин и продолжал:

– Хорошо. Значит, у вас есть причины, почему вам это нравится?

Денис Иванович густо покраснел и потупился.

– Прав я или нет? – испытующе глядя на него, переспросил Гагарин.

Денис Иванович склонил голову, непроизвольно взял перо со стола и стал вертеть его, как пойманный на месте преступления школьник.

– Тогда, если вы молчите, сударь, – опять сказал Гагарин, – я доложу вам, зачем вы бываете там: вам нравится Анна Петровна.

– Тетка? – ужаснулся Радович.

– Какая тетка?

– Старуха Оплакрина.

– Вы изволите шутить. Я говорю про Анну Петровну Лопухину.

– Ах, нет, – обрадовался Денис Иванович, – нет, во все не нравится, то есть она мне нравится, я дурно про нее ничего не знаю, но не так... Нет, право, не так...

– Тогда выходит еще хуже. Зачем же вы бываете, зачем собираетесь жениться?

– Я собираюсь жениться?

– Да.

– На Анне Петровне Лопухиной?

– Да, об этом все говорят.

– Так ведь мало ли что говорят, но кто же, посудите, может знать на самом деле о таких вещах?

– Вот я желаю знать.

– Ну, так я вам говорю, что нет, и не думаю я об этом... честное слово, не думаю...

«Или он – совсем дурак, или прикидывается и хитрит», – мелькнуло у Гагарина.

– Но в таком случае, что же означают ваши постоянные посещения?

– Да вы постойте, вы сами-то отчего волнуетесь?

– Я не волнуюсь, сударь...

– Нет, нет, милый, – жалобно сморщив брови, остановил его Денис Иванович. – Я не хочу вас сердить или обижать, я хочу помочь вам, чтобы вам было легче... Я вижу, что-то у вас есть... Постойте!.. Вы сами... как это?.. Ну, словом, вам самому нравится Анна Петровна... так ведь? А?

– На этот счет я не нахожу нужным посвящать вас в какие-нибудь подробности, но только прямо говорю, что тот, кто осмелится мечтать об Анне Петровне, будет иметь дело со мною.

– Какое дело?

– Как полагается между дворянами – поединок.

– Зачем поединок? Не надо этого... Нехорошо... Так вы вот отчего беспокоитесь?.. Ну, так поверьте, я не буду мешать вам...

Ему очень хотелось, чтобы Гагарин почувствовал себя совсем хорошо и чтобы его лицо прояснилось. Но тот сидел угрюмый и строгий.

– Так вы любите? – протянул Денис Иванович. – Это очень хорошо... Я понимаю...

– Ничего вы, как я вижу, не понимаете, – вдруг рассердился Гагарин.

– Нет, понимаю, – подхватил Денис Иванович. – Вот, видите ли, вы открыли мне свою тайну, и вы мне нравитесь. Вы мне и тогда у Лопухиных очень понравились... Хотите, будемте друзьями?.. Если бы у меня была тайна, я открыл бы вам ее, но у меня еще нет тайны. Однако я все скажу. Понимаете, я бываю у Лопухиных потому, что там бывает... Анна Петровна Оплакшина...

– Ну, так что ж?..

– Не понимаете?

– Ничего не понимаю.

– И ее племянница, – краснея опять до слез, выговорил едва слышно Радович.

Если бы Гагарин, услышавший теперь такое признание Дениса Ивановича, не видел его при первой своей встрече с ним, в саду у Лопухиных вместе с Валерией, то подумал бы, что тот желает, издеваясь, морочить его. Но теперь он вспомнил эту пару, и сразу чутьем влюбленного уверился, что Радович гово-

рит правду. Он просиял, и невольная широкая улыбка осветила его лицо. Конечно, для него был смешон Денис Иванович, влюбляющийся в Оплаксину, когда пред его глазами была – чудо красоты – Анна Лопухина.

– Я вам верю, – сказал он.

– Ну, вот и отлично! Значит, вы не тревожитесь больше?

– Послушайте, Радович, – заговорил Гагарин, откладывая шляпу и снимая перчатки. – Если бы, когда я ехал к вам, кто-нибудь стал пророчить мне, что мы сделаемся друзьями и не разведемся поединком, я посмеялся бы тому в лицо. Но вышло вовсе не так, как я предполагал, и вместо того, чтобы видеть в вас себе помеху, я вижу, что вы можете оказать мне некоторую помощь...

– Отчего же? С удовольствием, с большим удовольствием! – охотно согласился Денис Иванович.

– Дело в том, что я нежданно-негаданно назначен в корпус генерала Розенберга, который мобилизуется на австрийской границе для борьбы с французским консулом Бонапарте. Вероятно, мы пойдем на помощь австрийским войскам.

– Неужели? – сочувственно удивился Радович. – Значит, вам уезжать надо?

– Конечно. Я, как офицер, не могу отказаться от на-

значения в корпус, который готов отправиться в действие. Я должен ехать. Но мало того – меня отправляют туда курьером с пакетом с тем, чтобы я остался уже там, и отправляют спешно. Завтра утром я обязан выехать... Сегодня я узнал это. Я заезжал к Лопухиным, чтобы проститься, но меня не приняли.

– Как не приняли? – воскликнул Денис Иванович. – Не может быть!

– Сказали, что уехали с утра.

– Позвольте, – вспомнил Радович, – правда, вчера говорили, – они собирались в подмосковную к Безбородко; да, правда, они должны были уехать.

– Значит, это верно, – с некоторым облегчением произнес Гагарин. – А я думал, что именно меня не хотели принять...

На самом деле так и было. Екатерина Ивановна, зная о готовившемся Гагарину приказе, который был устроен ею, нарочно увезла сегодня ничего не подзревавшую Анну в подмосковную к Безбородко.

– А вам остаться еще на день нельзя? – попробовал спросить Денис Иванович.

– Не мыслимо.

– Тогда знаете что? Напишите письмо, а я передам его так, что никто не узнает. Будьте покойны!..

Гагарин вдруг радостно взглянул на него и протянул ему обе руки, восклицая:



– Неужели вы это сделаете?

– Конечно, сделаю. Разве это трудно? И я вот что предложу вам. Я попрошу, чтобы она написала ответ, и я вам пошлю его, куда вы скажете. А потом вы опять напишете ко мне, и я передам, и так вы будете в переписке. Лопухины уезжают в Петербург, но и я перевожусь туда же...

– Никак не ожидал, никак не ожидал, – повторил несколько раз Гагарин. – Спасибо вам!

## XVIII

Через три недели после отъезда государя в «Московских ведомостях» было напечатано в числе прочих назначений известие о переводе коллежского секретаря Радовича в Петербург за обер-прокурорский стол Правительствующего сената, о пожаловании ему камер-юнкерского звания и даровании трех тысяч ежегодно.

Это было значительно меньше того, во что выросли в городских сплетнях посыпавшиеся на Радовича блага. Говорили, что он назначается статс-секретарем, обер-церемониймейстером, а из трех тысяч было сделано уже тридцать.

Тем не менее и того, что выяснилось, казалось достаточным. Явилось официальное подтверждение, что «идиот» Радович, бывающий ежедневно у Лопухиных, переводится в Петербург. Значит, ясно, и не подлежит никакому уже сомнению, что он идет на сделку брака с Анной Лопухиной.

Людмила Даниловна, маменька двух толстых дочек, единственным достоинством которых была их невинность, прочла известие в «Ведомостях», как и все остальные, но взволновалась им гораздо больше остальных. Она с такою уверенностью наметила Де-

ниса Ивановича в женихи одной из своих дочек, – все равно которой, – и так упорно возила их и сама ездила к Лидии Алексеевне, что постигшее ее вдруг разочарование превзошло всякие границы. Она знала о ходивших слухах, но твердо надеялась, что Лидия Алексеевна не допустит, чтобы свершилась такая комбинация. И вдруг в самом деле назначение в Петербург, и камер-юнкер, и три тысячи!..

Людмила Даниловна надела парадный роброн и отправилась к Радович, одна, без дочерей, с деловым визитом. Она мнила до сих пор, что сама Лидия Алексеевна угадывает ее намерения и благосклонно поощряет их, и теперь желала объясниться по этому поводу.

Лидия Алексеевна, давно вставшая после болезни с постели, но медленно поправлявшаяся, первый день принимала сегодня посторонних, чувствуя себя достаточно уже окрепшей.

Ходившие по городу слухи не достигали до нее, потому что она никого не видела, а Зиновий Яковлевич, чтобы не беспокоить ее, ничего не рассказывал. Лидия Алексеевна ждала со дня на день указа об отдаче ей сына в опеку, надеясь на свое свидание с государем и на разговор с ним. Зиновий Яковлевич, чтобы ободрить ее и дать силы для выздоровления, поддерживал в ней ожидание указа, который, впрочем, и

ему казался возможным ввиду поступка Дениса Ивановича, явившегося к нему. Он рассчитал, что, может быть, Денис Иванович не такой уж круглый идиот, как это показалось ему в первую минуту, и приходил мириться с ним, проведая, что ему несдобровать. Корницкий ездил часто в опеку, чтобы наводить справки, как идет дело, и там мелкие чиновники, чтобы не упустить щедрых подачек, получаемых от него, водили его за нос и обнадеживали, хотя жалобная просьба Лидии Алексеевны на сына была давно положена под сукно.

Людмила Даниловна застала Лидию Алексеевну сидящую в креслах на балконе за пасьянсом. Радович была одета в свое обыкновенное платье – молдаван, введенный в моду для дома императрицей Екатериной II, и в чепчике с пышными лентами. Ее лицо было совсем коричневое, а белки глаз ярко-желтые. Она очень похудела и изменилась.

Людмила Даниловна влетела шумно и шумно заговорила сразу, в своем волнении пренебрегая тем, что Радович по своему болезненному виду была сама на себя не похожа.

– Лидия Алексеевна, что же это? – заговорила она, всплеснув руками. – Вы читали?

– Здравствуйте, очень рада вас видеть. Садитесь! Что я читала? – степенно, с расстановкой проговорила Радович.

– Да сегодня в «Московских ведомостях»?

– Что в «Ведомостях»?

– Сын ваш, Денис Иванович, назначен...

«Под опеку! – подумала Лидия Алексеевна. – Наконец-то!»

– Камер-юнкером, – договорила Людмила Даниловна, – и в Петербург переводится...

– Как камер-юнкером?

– Да, говорили – статс-секретарем, я и тому не верила, но камер-юнкером.

«Московские ведомости», получавшиеся у Радович, подавались непосредственно Зиновию Яковлевичу, и тот, когда нужно, рассказывал новости, а сама Лидия Алексеевна не читала газеты, считая это мужским, служебным делом.

– Я номер привезла, – продолжала Людмила Даниловна, доставая из ридикюля тетрадку и подавая ее хозяйке дома. – Вот, взгляните сами...

Радович взяла газету, повертела ее пред глазами, перелистала и протянула назад.

– Без очков не вижу, прочтите сами, – сказала она.

Она, бегло читая по-французски, разбирала по-русски почти по складам, но скрывала это.

Людмила Даниловна прочла.

Лидия Алексеевна долго сидела молча, соображая.

– Ну, так что ж? Милость государя, – пожалала она

плечами. – Сын Ивана Степановича Радовича, слуги отца императора, может получить царскую милость.

Как ни неожидан, как ни значителен был удар, нанесенный ей, гордая Лидия Алексеевна, несмотря на свою болезнь, совладала с собой, чтобы не выказывать при посторонней, что сын явно пошел против нее, и верх остался за ним.

– Да ведь он не за заслуги отца, – наивно бухнула прямо Людмила Даниловна, – он за то, что женится на Лопухиной.

– Как женится? – вспыхнула Лидия Алексеевна, почувствовавшая, что нашелся исход для забушевавшего в ней гнева. – Как женится? Я слышала об этих разговорах, но могу вам сказать, что мой сын, Радович, никогда не пойдет ни на какую сделку со своею совестью, а если что, – добавила она на всякий случай, – то я не допущу этого...

– Да как же не допустите, когда это уже случилось, Лидия Алексеевна?

– Вздор, ничего не случилось! – вставая с места, крикнула Радович. – Вздор! Сплетница! Вон, и чтоб духу твоего не было!

Людмила Даниловна знала, что Радович – женщина сердитая, но в первый раз увидела, что это значит. Она съежилась, задрожала и испуганно залепетала:

– Да ведь я, Лидия Алексеевна...

– Вон! – кричала Радович. – Или я не хозяйка у себя в доме? Я думаю, что, слава богу, еще хозяйка... А, не хозяйка я по-вашему?

– Хозяйка.

– Ну, так вон! – и Радович, подступив к Людмиле Даниловне, с силой вытянутою рукою показывала ей на дверь.

«Батюшки, побьет!» – решила перепуганная маменька «невинностей» и кинулась действительно вон.

Радович упала в кресло, схватила звонок и со всей мочи затрясла им. Адриан, Василиса, дежурная горничная сбежались на этот отчаянный призыв.

– Проводить... – приказала Лидия Алексеевна, – проводить эту барыню, вымести двор за нею и чтоб никогда не пускать.

Она опять поднялась.

«Так-то, Екатерина Николаевна! Вы полагаете людей обводить? – закипело все ключом в ней. – Ну, погодите! Он все-таки мой сын, и я сделаю с ним то, что я хочу».

И она с небывалою еще после болезни у нее бодростью пошла.

Василиса было сунулась к барыне, чтобы поддержать ее под руку, но та оттолкнула ее и пошла одна.

Она поднялась по лестнице и отворила дверь в комнату сына.

Денис Иванович у своего стола чертил на бумаге что-то вроде плана квартиры, которую он мечтал нанять в Петербурге. На этом плане была гостиная и рядом с нею нетвердыми штрихами обозначался дамский будуар.

– Маменька! – воскликнул он, вскакивая при ее появлении. – Да как вы изменились! Что с вами?

– Со мной – то, что родной сын в гроб меня вкочлачивает, – начала Лидия Алексеевна, с трудом шагнув к стулу и упав на него. У нее хватило подъема сил только чтобы дойти до его двери, дольше держаться на ногах она не могла. – В гроб, – повторила она и, чувствуя, что не сможет говорить долго, прямо перешла к делу. – Сегодня в «Ведомостях» пропечатано о твоём назначении в Петербург и о прочих к тебе царских милостях.

– Да, так пожелал государь.

– Один ли государь?

– Кто же еще, маменька?

– А ты не знаешь?

Денис Иванович стоял пред матерью и испытывал одно лишь мучительное чувство жалости к ее болезненному, изменившемуся виду. Он знал, что для того, чтобы не раздражать ее еще, нужно было коротко и ясно отвечать на ее вопросы, и старался делать это.

– Не знаю, маменька! – произнес он.



– Послушай, Денис, ты затеял подлюю штуку. Ты пошел против матери и, чтобы добиться своего, не пожелал разобрать средства. А знаешь ли ты, зачем тебя женят на Лопухиной? Я пришла, чтобы открыть тебе глаза. Ты по простоте не понимаешь... Не будет тебе моего благословения на этот брак. А если ты думаешь обойтись без моего благословения, так знай, что тебя женят...

– Да меня вовсе не женят, маменька!..

– Как не женят?

– Так! Я не хочу жениться на Лопухиной, уверяю вас.

– Лжешь! Лжешь перед своею матерью!.. Вот до чего дошло! – Лидия Алексеевна взялась за виски и с неподдельною скорбью протянула, закачав головою: – Радович, мой сын, и лжет! Не было еще лгунов среди Радовичей!

– Маменька, клянусь вам, я не лгу... Я могу доказать это.

– Как же ты докажешь, когда все явно говорит против тебя? Или ты уж так прост, что сам ничего не видишь и позволяешь одурачивать себя? Но тогда зачем же едешь к Лопухиным, зачем?

– Маменька, уверитесь вы, если я вам открою один секрет? Но только вам... и поклянусь?..

– В чем?

– В том, что если бы я женился на ком-нибудь, так это была бы не Анна Петровна, а другая... совсем другая...

– Другая?

– Довольно вам?

– Нет. Кто она, эта другая?

– Маменька, не заставляйте!

– Говори!

– Оплакрина Валерия, племянница Анны Петровны, – поспешно выговорил Денис Иванович, видя, что мать пошатнулась и с трудом втянула в себя воздух, задыхаясь.

– «Старое диво»? – вырвалось у Лидии Алексеевны.

– Маменька, если бы вы звали, какая у нее душа!.. Но только я никогда не женюсь, потому что это невозможно. Она говорит, что браки совершаются на небесах.

Лидия Алексеевна глубоко и легко вздохнула.

– И ты говоришь все это искренне?

– Клянусь вам.

– Что ты ни на ком, кроме девицы Оплакриной, не женишься?

– Клянусь вам!

– Ну, хорошо, Денис Иванович, не отрекайся и сдержи свою клятву!

## XIX

Анна Петровна Оплаксына сидела с Валерией, окруженная своими дворовыми, крепостными девками, в большой, светлой, выходившей окнами во двор последней комнате занимаемого ею домика. Все были заняты – и сама Анна Петровна, и Валерия, и девицы усердно постукивали коклюшками, плетя кружева.

Особенно ловко и споро ходили руки углубленной в свое занятие Валерии. Изредка к ней обращалась с вопросом какая-нибудь девушка; Валерия вставала, кротко и терпеливо показывала и объясняла, потом возвращалась на свое место и с прежним рвением принималась за работу.

Никто не знал, что кружева, которые постоянно продавала в пользу бедной старушки Анна Петровна своим знакомым, то есть всей Москве, были сработаны здесь, у нее, под ее и Валерии руководством. Анна Петровна не лгала: деньги шли действительно в пользу бедной старушки, но этой бедною старушкой была она сама, Анна Петровна.

Никто не знал, какова была жизнь Оплаксыной, и никто из так называемого общества не подозревал, что она недоедала куска, чтобы были сыты ее «детки», как называла она своих крепостных. Даже Вале-

рию часто обделяла она, говоря, что «ты своя, родная, а они (то есть крепостные) Богом мне поручены и за них я Ему ответ должна дать!». И Валерия вполне соглашалась с нею и охотно переносила лишения.

У Анны Петровны под Клином была деревенька в пятьдесят две души мужского пола, и доходы, получаемые ею оттуда, оказывались крайне скудными, потому что оплаксинские крестьяне не знали, что такое барщина, и платили или, вернее, никогда полностью недоплачивали положенного на них до смешного малого оброка. Зато, правда, все они жили в избах под тесовыми крышами, и сердце Анны Петровны радовалось, когда она после утомительного пути на своих, на долгих, подъезжала к своему Яльцову, и издали показывались эти блестящие на солнце, новые, как золото, и старые, как серебро, крыши. Одно, что делали аккуратно мужики Анны Петровны, – праздновали день ее рождения, приходившийся на десятое июля. Тут они являлись с приношениями яиц, огурцов, творога, масла и деревянных ложек, и Оплаксына, до слез тронутая этими подарками, отдавала последнее на их угощение.

Дворовых в городе из мужчин было у нее всего трое – кучер, ходивший за парой ее курчавых низкорослых деревенских лошадок, выездной и старик дворецкий. Остальной штат ее составляли девушки, которых

она поила, кормила, выдавала замуж и у всех у них крестила потом и лечила детей; впрочем, последнее больше было делом Валерии.

Домик, занимаемый Анной Петровной в Москве, хотя очень небольшой, но все-таки приличный, нанимала она сверх своих средств, и вела достойную по внешности жизнь для поддержания имени Оплаксиных, отказывая на самом деле себе во всем и целыми днями работая вместе с Валерией над кружевом, продажа которого позволяла ей кое-как сводить концы с концами.

Екатерина Николаевна Лопухина оставила у себя кружево, но денег не заплатила, и это беспокоило Анну Петровну.

– Валерия, – проговорила она, отрываясь от работы, которая шла у нее по-старчески, уже не так, как прежде, – что ж это Екатерина Николаевна насчет денег-то?

– Ну, что ж, отдаст! – успокоила ее Валерия, быстро перебирая коклюшки своими тонкими, бескровными пальцами.

– То-то отдаст! Ведь яичко дорого в Юрьев день!.. Несколько работниц, не стесняясь, фыркнули.

Анна Петровна обернулась.

– Ты чего? – сама улыбнувшись, спросила она у востроглазой, краснощекой Дуняши, особенно смеш-

ливой.

– Не в Юрьев, а в Христов день, – бойко ответила Дуняша, не могшая никак привыкнуть к вечным обмолвкам барыни.

– Ну, в Христов день. Вам бы все смешки надо мной! Ну, да ничего! Когда же вам и смеяться, как не теперь? Теперь для вас все – копеечная индюшка!

Дуняшка опять не выдержала и расхохоталась.

– Иль опять не так? – удивилась Анна Петровна, вообразившая, что на этот раз она не сделала никакой ошибки.

– Чудно! – сказала Дуняша.

Она заметила, что барыня что-то снова перепутала, но не поняла, что Анна Петровна своей «копеечной индюшкой» хотела сказать, что молодым «жизнь – копейка, а судьба индейка», потому они и смеются.

В дверь всунулась голова выездного, но сейчас же исчезла, и показался отстранивший его дворецкий.

– Госпожа Радович. Прикажете принять? – доложил он, как будто Анна Петровна по крайней мере сидела в дипломатической гостиной, а не в девичьей, где плели кружево.

– Радович?.. Господи помилуй! – удивилась Оплак-сина, у которой Лидия Алексеевна бывала раз в год, да и то всегда по особому приглашению. – Проси, проси! – засуетилась она. – Валерия, слышишь? Радович

приехала...

– Они просят кресло подать и чтобы в креслах их из кареты вынести, потому нездоровы, – доложил дворецкий.

– Ну хорошо, вынеси... из гостиной возьми. Что ж это, Валерия? – обратилась Анна Петровна уже растерянно к племяннице, – больна, в креслах – и вдруг к нам!.. Пойдем, надо встретить...

– Идите, ma tante, я сейчас, – могла выговорить только Валерия.

Сердце у нее замерло. Ясно было, что приезд Радович означал что-то необыкновенное, важное, от чего жизнь зависит, но только что – хорошее или дурное?

Валерия вместо того, чтобы идти за теткой, бросилась в спальню и там, сжав у груди руки, бледная, с выступившим холодным потом на лбу опустилась на колени перед киотом. Она не могла сосредоточиться на словах какого-нибудь определенного моления, жадно, почти дерзко, неистово и иступленно смотрела на любимый свой старинный образ Богоматери и как бы ждала в своем трепете, что он явит ей.

– Барышня, вас тетушка спрашивает, – услышала она голос горничной, присланной за нею.

Валерия встала, перекрестилась и пошла.

Посреди гостиной, в креслах, в которых внесли ее сюда, сидела Лидия Алексеевна Радович. Пред нею

стояла Анна Петровна и утирала платком слезы на глазах.

– Валерия, – сказала тетка, – Лидия Алексеевна делает нам честь, – она всхлипнула, – просит твоей руки для сына ее, Дениса Ивановича.

Валерия со всего маху грохнулась на пол в обморок.

Лидия Алексеевна немедленно после объяснения с сыном, сойдя вниз, велела заложить карету и отправилась к Оплаксыным.

«Если Екатерина Лопухина желает обвести моего глупого Дениса, – рассчитала она, – то я ей устрою сюрприз, какого она не ожидает!»

И она уже заранее представляла себе, какое сделает лицо Екатерина Николаевна, когда Денис Иванович, которому она, как думала Радович, выхлопотала царскую милость в надежде, что он женится на ее дочери, будет объявлен женихом «старого дива», Оплаксыной!

А уж если необходимо было выбирать ей невестку, то лучше тихой, скромной и тоже недалекой, какую все считали ее, Валерию, и найти было трудно.

«Они – два сапога пара», – решила Лидия Алексеевна и, собрав последние силы, поехала к Анне Петровне, поймав, так сказать, сына на слове с тем, чтобы, когда официальное предложение будет сделано,



отрезать ему путь к отступлению.

Валерию привели в чувство. Отказа, разумеется, не последовало, и Лидия Алексеевна, вернувшись домой, призвала к себе сына.

– Я сейчас от Анны Петровны Оплаксиной, – сказала она ему. – Она согласна на твой брак с ее племянницей Валерией.

– Маменька, да как же вы это так? – всплеснул руками Денис Иванович. – Да ведь я только в будущем...

– Зачем откладывать в будущее то, что можно сделать в настоящем?

– Да как же? Да разве возможно это?

Через полчаса Денис Иванович входил, сияя своим новым мундиром, к Оплаксиным. Он был очень смущен и сконфужен.

Валерия встретила его одна в гостиной. Радович подошел к ней, взял ее за руку и не знал, что ему делать с этой рукой. Она сочла нужным томно вздохнуть, потому что читала в романе, что в таких случаях девицы вздыхают томно. Но вдруг она не выдержала. Радость, переполнившая ее душу, просившаяся наружу, преодолела ее, она вскинула руки, взяла Дениса Ивановича за щеки и, глянув на него счастливыми, прекрасными в своем счастье глазами, просто проговорила: «Милый мой, да как же любить тебя буду!..» – и прижала его к себе, а он заплакал от никогда

еще в жизни не испытанной ласки.

## XX

Свадьба Дениса Радовича с Валерией была отпразднована скоро, сейчас же, как кончился Петровский пост.

Молодые уехали после свадьбы в Петербург, куда Денис Иванович отправлялся по новому своему назначению. С ними поехала Анна Петровна, которую они уговорили не оставлять их.

Петр Васильевич Лопухин в августе месяце перешел из Москвы в Петербург, где занял должность генерал-прокурора. С ним переехала его семья. Зародившаяся в Москве сплетня потянулась в Петербург за Анной и дошла до того, что говорили, будто бы Павел Петрович учредил в ее честь Анненский орден, хотя этот орден был учрежден его дедом, герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским, в 1735 году, в память своей супруги Анны Петровны, дочери Петра Великого, а Павлом I лишь принят в день его коронавания в число российских орденов.

Сплетне должен был быть положен конец, когда Анна Петровна сама рассказала о своей любви к Гагарину императору Павлу.

Гагарин находился тогда в действующей армии за границей, под начальством Суворова. Павел Петро-

вич послал немедленно личное предписание, чтобы Гагарин был прислан курьером в Петербург при первом же счастливом событии. Суворову нетрудно было исполнить это. Победы следовали за победами. Одиннадцатого июля 1799 года Гагарин привез известие о двукратном поражении Макдональда на Требии. Он был щедро награжден, но лучшей наградой ему была любимая им и любящая его Анна.

Денис Иванович счастливо служил в Петербурге, и многие не понимали, каким образом он удержался там же, женившись не на Анне Лопухиной, а на Оплаксинной? И общий голос был – «дуракам счастье!».

Радович был вполне счастлив своею женою и даже тетушкой Анной Петровной, которая с годами стала путать еще больше «однодворца» с «вольтерьянцем» и была известна этим всему Петербургу.

Лидия Алексеевна осталась жить с Корницким в московском доме, по-прежнему полной хозяйкой всего имения, но недолго. Она умерла от припадка желчной колики, рассердившись, что ей была подана простокваша не по ее вкусу, недостаточно холодная.

Смерть ее была почти скоропостижная, так что когда приехал Денис Иванович, вызванный из Петербурга, он не застал ее.

Он не застал не только ее, но и московского своего дома, который сгорел, пока еще покойница лежала в

гробу.

Вместе с нею, мертвой, сгорел заживо Зиновий Яковлевич Корницкий. В последнее время он жил под вечным страхом, что на него нападут и покончат с ним. Этот страх сделался у него как бы болезненным. Он сделал на свои окна железные ставни и запирает дверь несколькими болтами. Единственно, кого допускал он к себе – своего вольнонаемного кучера-татарина. Однако именно то, что, по его мнению, должно было спасти его, то есть болты и ставни, послужило ему погибелью. Когда вспыхнул дом, он второпях не мог отпереть дверь и задохнулся в дыму, а потом сгорел.

Василиса передала Денису Ивановичу спасенную от огня шкатулку Лидии Алексеевны, и там он нашел пожелтевшую от времени записку, написанную почерком Корницкого:

«Клянусь всемогущим Богом, что ни я, ни кто другой не причастен к смерти Ивана Степановича Радовича, умершего своею смертью, как указано в свидетельстве доктора».

Видно было, что Лидия Алексеевна тоже подозревала Корницкого, и он дал ей письменную клятву, что муж ее не был убит.

Прочтя эту записку, Денис Иванович перекрестился и проговорил:

– Слава богу, мать моя не была убийцею!..